

18+

Лучшие подруги

Данил Столбов

Данил Столбов

Лучшие подруги

<https://litres.ru/74401438>

ISBN 9785007111362

Аннотация

Никита одновременно встречается с двумя девушками — Лизой и Настей, которые являются близкими подругами. Он убеждает себя, что всё под контролем, что никто не пострадает, что он просто не готов к выбору. Но ложь живёт по своим законам, и чем дольше она длится, тем разрушительнее становится — для всех троих.

Содержание

Синие и розовые дни	5
Лиза, которой я верю	38
Настя не виновата	76
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Лучшие подруги

Данил Столбов

© Данил Столбов, 2026

ISBN 978-5-0071-1136-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Синие и розовые дни

У меня в телефоне два цвета. Синий и розовый.

Звучит хуже, чем есть на самом деле. Или лучше. Зависит от того, кто спрашивает.

Никто, впрочем, не спрашивает. Это первое правило системы.

Я открываю календарь примерно раз в день — утром, пока чайник греется и голова ещё не успела выработать достаточно цинизма для нормального функционирования. Смотрю на цвет. Выстраиваю день. Синий — значит, звоню Лизе, пишу первым, предлагаю встретиться после пар. Розовый — значит, Настя уже, скорее всего, написала сама, и мне остаётся только ответить что-нибудь необязательное и всё равно оказаться там, где она скажет.

Система работает по принципу, который я для себя называю «разумным распределением ресурсов». На медицинском нас этому не учат применительно к личной жизни, но концепция универсальная. Не пересекаться. Не путаться. Не давать трещинам разрастись до того, пока их можно замазать.

Я знаю, как это звучит. Поэтому я обычно не произношу это вслух.

Систему я создал в конце сентября — если быть точным, в воскресенье вечером, когда сидел на кухне съёмной квар-

тиры и смотрел в экран телефона с тем особым выражением лица, которое бывает у человека, только что принявшего решение, про которое он уже знает, что не должен был его принимать. За окном шёл дождь. Я помню дождь отчётливо, потому что думал тогда: ну вот, теперь есть что-то романтически-кинематографическое в этом моменте, и это немного неловко.

Лиза написала в восемь вечера — спокойное, как она сама: «Ты сегодня как?» Три слова. В них не было ни тревоги, ни претензии, только ровная, почти материнская забота о том, чтобы я был в порядке. Именно это я в ней и любил, и именно это иногда давило на что-то в районе грудины — эта её способность быть надёжной, как стена, об которую можно опереться и которую при этом невозможно сдвинуть.

Настя не написала ничего. Она никогда не пишет в восемь вечера в воскресенье — она или уже спит, или танцует на кухне под что-то, что я бы не стал слушать добровольно, или читает что-то странное и смеётся в одиночестве. Это тоже было частью её — эта полная непредсказуемость расписания, как будто время для неё существует в другом, более свободном измерении.

И вот я сидел между этими двумя сообщениями — одним существующим и одним воображаемым — и думал: мне надо выбрать. Взрослый человек, четвёртый курс, две ротации в терапии уже за плечами, должен уметь принимать решения. Мне надо выбрать.

Я открыл календарь и выбрал цвета.

Это не было злым умыслом. Я хочу, чтобы это было понятно — не потому что мне нужно оправдание (хотя, положив руку на сердце, немного нужно), а потому что это правда. Я не сидел и не думал: как бы мне половчее обмануть двух хороших людей. Я думал: мне страшно потерять кого-то из них, а выбор означает потерю, а потеря — это то, с чем я не очень умею обращаться. Вот и всё. Вся психология уместается в два предложения, и ни одно из них не делает меня лучше.

Синий я выбрал для Лизы не случайно. Синий — это цвет спокойствия, устойчивости, того особого чувства, когда знаешь, что кто-то рядом и не уйдёт без предупреждения. Лиза именно такая. Она пьёт чай без сахара и помнит, у кого из преподавателей лучше не спрашивать про внепрограммное чтение. Она смеётся негромко — не потому что сдерживается, а потому что у неё такой смех, внутренний, как будто радость живёт где-то глубоко и на поверхность выходит дозированно. Рядом с ней я чувствую, что мир организован разумно и что у вещей есть правильные места. Это редкое ощущение, и я не умею от него отказываться.

С Лизой мы учимся вместе — одна группа, одни преподаватели, одни экзамены. Это создаёт особый вид близости, который сложно объяснить людям со стороны: когда человек видел тебя на коллоквиуме по патофизиологии, когда ты не выспался и путал термины, и всё равно смотрел так, как

будто ты справляешься. Это что-то значит. Это, наверное, и есть синий — ровный, без пиков.

Розовый для Насти тоже был не случаен, хотя объяснить это сложнее. Розовый — это не нежность, как могло бы показаться. Это, скорее, тот цвет, который бывает на закате перед грозой: красивый, немного тревожный, и никогда не знаешь, что будет дальше. Настя именно такая.

Мы познакомились через Лизу — они дружат со школы, и это обстоятельство я предпочитаю не разворачивать в голове слишком подробно, потому что тогда приходится думать о вещах, о которых думать неудобно. Настя не поступила в медицинский — недобрала баллов, поступила в другое учебное заведение, живёт в том же городе, иногда появляется в общей компании. Появилась однажды и в моей жизни — через совместный ужин, через один разговор, который затянулся до часа ночи, через смех, который у неё совсем не такой, как у Лизы: громкий, внезапный, как будто радость не успевает спросить разрешения.

С Настей мне бывает страшно. Не в плохом смысле. В том смысле, что я не знаю, что она скажет через пять минут, и это держит меня в каком-то постоянном лёгком напряжении — как кофе, но лучше. Она задаёт вопросы, на которые у меня нет готовых ответов, и смотрит так, как будто ей действительно интересно, что я придумаю. Это затягивает.

Вот, собственно, и всё. Синий и розовый. Система простая до неприличия, и именно её простота меня поначалу и

успокаивала.

Главное правило: никаких накладок. Синий день — синий. Розовый — розовый. Серые дни — для учёбы, для библиотеки, для звонков маме, для того чтобы побыть одному и не думать о том, что я в общем-то делаю.

Я не думал, что это продлится долго.

Но система работала.

Пока работала.

* * *

Мы идём в одну сторону каждый день — от метро до корпуса, восемь минут пешком, если не застрять на светофоре у аптеки. Я знаю этот маршрут наизусть: трещина в асфальте у второго столба, ларёк с кофе, который открывается раньше всех, голубь, который всегда сидит на одном и том же месте на перилах, — Лиза однажды сказала, что это, наверное, один и тот же голубь, и я зачем-то ей поверил.

Её рука у меня в руке. Она в перчатке — тёплой, вязаной, чуть растянутой на пальцах. Ноябрь в Москве — это не романтика, это сырость, которая просачивается под куртку и остаётся там до весны. Но её руку я чувствую даже сквозь шерсть, и это странным образом помогает.

С Лизой мне спокойно по утрам. Не в смысле «ничего не происходит» — в смысле, что внутри не стоит фоновый шум, который обычно есть. Она не требует от утра ничего лишнего: идёт в своём ритме, иногда что-то говорит, иногда молчит, и в обоих случаях всё в порядке. Рядом с ней я как будто

умею дышать полностью, а не урывками.

Я думаю об этом и одновременно думаю о том, что послезавтра — розовый день. И то, что я думаю об этом прямо сейчас, с её рукой в руке, — меня не пугает настолько, насколько должно. Вот это немного пугает.

Нежность к Лизе у меня настоящая — я говорю это себе не как оправдание, а как констатацию. Я замечаю, как она поправляет шарф на ходу — не глядя, привычным движением, — и что-то тёплое поднимается в районе рёбер, что трудно назвать конкретным словом. Она красивая по-своему: не броско, не так, чтобы все оборачивались, а так, чтобы ты начинал замечать это постепенно — линию скулы, то, как она хмурится, когда думает, то, как читает и водит пальцем по строчке. Настоящая нежность. Я не придумываю.

Но она, эта нежность, каким-то образом существует в одном пространстве с розовым — и не вытесняет его, и не вытесняется им. Как будто это разные ящики, и в каждом ящике всё лежит аккуратно. Я бы сказал себе, что это анатомия — в смысле, что сердце большое и устроено сложно, — но я медик и знаю, что это плохая метафора.

— Ты слышал про зачёт по хирургии? — спрашивает Лиза. — Говорят, он теперь письменный. Коробов поменял формат.

— Не слышал.

— Надо будет уточнить у старосты. — Она не смотрит на меня — смотрит вперёд, на дорогу. — Если письменный —

это хуже. Мне проще устно объяснить, чем написать в нужной форме.

— Ты всегда так говоришь, а потом пишешь лучше всех.

— Не лучше всех. — Пауза. — Лучше тебя.

Я усмехаюсь. Это правда, и она об этом знает, и мне нравится, что она это говорит прямо, без кокетства. Лиза не играет в скромность, когда её нет, — и не преувеличивает там, где считает иначе.

Потом она говорит про клинику. Не первый раз — я слышал это уже в разных вариантах, но каждый раз версия чуть другая, чуть конкретнее. Сейчас это звучит так: ординатура, потом — если повезёт с местом — одна клиника в центре, которую она произносит без придыхания, просто как факт на горизонте. Она планирует. У неё в голове есть карта, и она движется по ней последовательно: четвёртый курс, пятый, шестой, государственный экзамен, ординатура, первое место работы. Я знаю, что на этой карте я где-то есть — не как пункт назначения, но как попутчик на каком-то отрезке. Это немного неудобная мысль, и я её не разворачиваю.

Я киваю и слушаю. Точнее, я слушаю голос — ровный, чуть ниже, чем у большинства девушек, очень конкретный, — и одновременно думаю о том, что послезавтра Настя предложит пойти куда-нибудь вечером, и я уже знаю, что соглашусь, и уже примерно знаю, как это будет. Этот параллельный ход мышления меня не удивляет, и это, наверное, тоже что-то значит.

На лекции мы сидим, как обычно, — рядом, чуть ближе, чем требует просто дружба. Аудитория большая, в ней холодно так, как бывает в старых корпусах: батареи есть, но тепло от них расходится куда-то не туда. Лиза вытаскивает конспект — у неё бумажный, я несколько раз предлагал переходить на планшет, она говорила, что рукой запоминает лучше. Наверное, это правда.

Её плечо касается моего. Не специально — просто скамья узкая, нас тут четверо в ряду, и пространство такое, что не прижаться невозможно. Но я всё равно замечаю. Тепло сквозь ткань куртки, лёгкое давление, которое не исчезает, пока лектор ходит по аудитории и что-то говорит про иннервацию плечевого сплетения.

«С ней всё правильно, — думаю я. — Всё на месте».

Это точное ощущение. Рядом с Лизой нет ощущения, что я чего-то не договорил или что под ногами неровный пол. Есть что-то устойчивое — как стол, который не качается, — и я это ценю, потому что знаю, что оно редкое.

И я не понимаю, почему это не помогает.

Не в смысле «не помогает справиться с чем-то плохим» — у меня нет ничего плохого, от чего нужно справляться. В смысле — почему это ощущение правильности, настоящее и незаимствованное, не закрывает собой всё остальное. Почему рядом с этим устойчивым столом у меня в голове всё равно есть место для розового. Для Насти. Для того, как она смеётся внезапно и как этот смех выбивает меня из равнове-

сия так, что потом долго хочется этого снова.

Я смотрю в конспект и не записываю ничего минуты три.

— О чём ты думаешь? — спрашивает Лиза тихо, не отрываясь от своей записи.

Вопрос лёгкий, необязательный — она не ждёт исповеди, просто спрашивает. Иногда она так делает, когда замечает, что я выпал.

— Про зачёт по хирургии, — говорю я.

— Врёшь, — говорит она без интонации.

— Ладно, про иннервацию. Думаю, зачем это знать, если есть атлас.

Она усмехается — я слышу это по тому, как чуть меняется её дыхание, не вижу.

— Потому что на экзамене атлас не дадут.

— Трагедия медицины.

Её плечо всё так же у моего плеча. Лектор что-то рисует на доске — схему, которую я потом возьму у Лизы, потому что у неё всё понятно и по делу. Это тоже маленькая константа нашей жизни.

После пары она вспоминает про вечер — у неё встреча с кем-то из старого потока, что-то насчёт учебников. Спрашивает, не обидно ли мне, что она не свободна.

— Обидно, — говорю я. — Буду страдать и перечитывать атлас.

— Хорошо, — говорит она. — Хоть что-то полезное.

Она уходит в сторону столовой, не оборачиваясь. Я стою

и смотрю ей вслед секунды три, может, четыре. Думаю: вот человек, который точно знает, куда идёт. И с которым мне лучше, чем я умею объяснить.

Потом достаю телефон и смотрю на дату.

Послезавтра — розовый.

* * *

К Насте я еду на другой конец города.

Это само по себе уже что-то значит — не в географическом смысле, а в каком-то другом. Лиза живёт в двадцати минутах пешком от университета, мы иногда заходим к ней между парами, просто чтобы выпить чаю и не думать о нервных сплетениях. Настя живёт там, куда надо ехать. Метро, пересадка, потом ещё автобус, если не хочется идти пешком. Хочется идти пешком — всегда, в розовые дни.

Я замечаю это в себе где-то между второй и третьей станцией. Что-то незаметно перестраивается: дыхание становится чуть другим, плечи опускаются, и вместо обычного монолога — «не забудь, у вас с Лизой в пятницу кино, и не забудь распечатать протокол для кафедры» — в голове делается тихо. Не пусто, а именно тихо. Как будто кто-то убавил звук, и это оказывается хорошо.

Я смотрю на рекламу в вагоне — стоматология, юридические услуги, курсы английского — и думаю ни о чём. Флуоресцентный свет чуть мигает над головой, в вагоне пахнет мокрыми куртками и разогретым металлом. Обычный московский ноябрь в метро.

Это редкость. Я не умею думать ни о чём, это вообще не моё.

За окном темнеет: поезд ныряет под землю, и стекло превращается в зеркало. Я вижу себя — куртка расстёгнута, чуть небритый, смотрю в никуда. Выгляжу спокойнее, чем должен.

Это тоже что-то значит. Я пока не разбираюсь что.

* * *

Настя стоит у подъезда.

Не ждёт меня — то есть она ждёт, я написал, что уже иду, — но она не стоит с видом человека, который ждёт. Она стоит с видом человека, которому просто нравится стоять на улице. Телефон в руке, взгляд куда-то в сторону, и когда она меня видит — не делает шага навстречу сразу. Сначала улыбается. Потом уже идёт.

— Ты знаешь, — говорит она, — что эта собака только что попыталась меня укусить?

Я смотрю на неё. На улице нет никакой собаки.

— Какая собака?

— Уже ушла. Но она была. Маленькая, рыжая, злобная. Явно с комплексами.

— Ты её обидела?

— Я на неё посмотрела. Видимо, этого достаточно.

Я смеюсь. Просто так, потому что — ну а что ещё делать. Она смеётся тоже, и непонятно, была ли вообще собака, и это, наверное, не важно. Мы стоим у подъезда и смеёмся над

собакой, которой, может быть, не существовало, и я думаю: вот так вот начинаются розовые дни. Не с какого-то момента, а уже вот с этого — прямо здесь, с рыжей злобной собаки и Настиного взгляда.

— Идём, — говорит она. — Я сделала чай. Ну, поставила чайник, это считается.

* * *

У неё дома беспорядок в том смысле, в котором беспорядок бывает у людей, которые живут, а не хранят. Книга на полу у дивана, раскрытая обложкой вверх. Куртка на спинке стула, а не в шкафу. На подоконнике — кружка с засохшим чаем и засохший же кактус, которому явно ничего не нужно, он просто существует. Под ногами — плед, сбитый с дивана, а в углу стопка журналов, которые, судя по слою пыли, давно перестали быть актуальными.

Я сажусь на диван. Настя идёт на кухню, гремит там чем-то, и я слышу, как она что-то напевает под нос — не песню, просто звук, просто так.

Я смотрю в потолок.

Здесь я не думаю о пятнице. Не думаю о протоколе для кафедры. Не думаю о том, что в среду надо бы повторить фармакологию, потому что там снова будет коллоквиум и снова можно не успеть. Здесь время устроено иначе: оно не делится на то, что надо сделать, и то, что уже можно. Оно просто есть. Настоящее, без будущего на горизонте.

Это меня освобождает.

Это меня пугает.

Потому что я привык ориентироваться по будущему — «сдадим сессию, поедem куда-нибудь», «дождёмся нормального лета» — а здесь нет этих координат. Здесь только сейчас. И я не знаю, что это говорит обо мне: что мне это нужно, что без этого что-то задыхается. Что я специально еду на другой конец города, чтобы на пару часов перестать строить планы.

Настя возвращается с двумя кружками. Ставит мою на стол, садится рядом — близко, но без намерения, просто диван не очень большой. От кружки идёт пар, тянет чем-то травяным, немного мятой.

— Лиза сегодня чем занята? — спрашивает она. Легко, без акцента. Просто разговор.

— Встречается с кем-то из старого потока. Учебники, кажется.

— А, это у неё бывает. — Настя отпивает чай. — Как она вообще?

— Нормально, — говорю я. — Готовится к хирургии. Волнуется, но не показывает.

— Это она умеет, — говорит Настя, и в голосе у неё что-то — не ирония, скорее что-то точное, наблюдение человека, который знает другого долго. — Она всегда так. Внутри паника, снаружи всё по плану.

Я смотрю на кружку в своих руках.

— Угу, — говорю я.

Ровно. Ни один мускул. Я иногда думаю, что мог бы сдавать экзамены по этому — «ни один мускул» как академическая дисциплина, у меня бы вышло отлично.

Настя не продолжает. Поджимает ноги под себя, смотрит в окно — там фонари уже загорелись, хотя ещё не совсем темно, такой странный час, когда день не решил, закончился он или нет.

— Расскажи что-нибудь, — говорит она.

— Что-нибудь это что?

— Ну что-нибудь. Что-то, что сегодня было. Что-то смешное или нет, неважно.

Я думаю секунду.

— На лекции по хирургии наш лектор нарисовал схему иннервации, и она получилась так, что все молчали минуты две. Просто сидели и смотрели.

— Похоже на что?

— На карту метро после землетрясения.

Настя фыркает — это не смех ещё, что-то до смеха, предсмех, — и потом всё-таки смеётся. Запрокидывает голову немного, и я вижу, как у неё дёргаются плечи.

— Он объяснял серьёзно?

— Абсолютно. С указкой.

— Это лучшее, — говорит она. — Когда серьёзно. Это всегда лучшее.

Я смотрю на неё — запрокинутая голова, смех, фонари за окном — и думаю совершенно чётко, без всякой метафоры:

вот это живое. Вот это настоящее. Это не то же самое, что «правильно», но это настоящее, и я не могу сделать вид, что не чувствую разницы.

Не хочу делать вид.

Это другая проблема.

* * *

Потом мы сидим просто так. Она что-то листает в телефоне и иногда показывает мне — какой-то ролик, мем, скриншот разговора с однокурсницей, который она комментирует одним словом и точно. Я не смотрю в свой телефон. Мне не хочется.

В какой-то момент она берёт меня за руку.

Не делает из этого события — просто берёт, как будто так и должно быть, кладёт поверх своей ладони, и всё. Смотрит в телефон. Показывает мне что-то ещё.

Я смотрю на наши руки.

С ней всё живое. Всё настоящее.

Я думаю это отчётливо, без попытки оспорить. И сразу же — следом, как тень за мыслью — думаю: и это тоже не помогает. Как Лизино плечо на лекции, как её «ты врёшь» без интонации, как то устойчивое, редкое, настоящее — это тоже настоящее, и это тоже не закрывает собой другое.

Я не знаю, что со мной не так.

Или знаю, и это хуже.

Настя поднимает взгляд от телефона, смотрит на меня секунду. Что-то читает в лице — или не читает, просто смотрит.

рит.

— Ты снова думаешь, — говорит она.

— Я всегда думаю.

— Это твоя главная проблема.

— У меня нет проблем, — говорю я.

Она смотрит на меня ещё секунду. Потом смотрит обратно в телефон.

— Конечно нет, — говорит она.

Голос нейтральный. Без иронии, без нажима. Просто констатация. И именно поэтому — именно так — это звучит точнее всего, что можно было сказать.

Я не отнимаю руку.

* * *

Ухожу поздно. Не очень, но позже, чем планировал — это тоже закономерность розовых дней, время здесь идёт не так, как должно.

У подъезда она не выходит — только машет из окна, когда я оборачиваюсь. Я вижу силуэт в свете комнаты, руку, потом окно закрывается.

Я иду к метро.

На улице холоднее, чем было, когда я приехал. Руки в карманы. Дыхание паром — белые облачка в свете фонаря, которые тут же растворяются в воздухе.

На второй минуте пути я достаю телефон.

Открываю календарь — не потому что забыл, что там стоит, а просто. Листаю вперёд на один день. Нахожу завтра.

Маленький цветной маркер в углу клетки: розовый.

Меняю на синий.

Смотрю на экран секунды три.

Убираю телефон. Иду дальше.

Почти механически. Почти.

* * *

На улице уже совсем темно. Фонари в окне — оранжевые пятна на потолке, если лечь на спину и не включать свет. Я лежу именно так.

Телефон в руке. Экран гаснет каждые тридцать секунд, я разблокирую — снова гаснет. Два непрочитанных сообщения. Одно от Лизы, одно от Насти. Я знаю это, не открывая: оба пришли с разницей в двенадцать минут, пока я ехал в метро, и оба сейчас просто лежат там — аккуратные, непотревоженные, ждут меня.

Я не тороплюсь.

Это не жестокость. Я просто хочу ещё немного побыть в промежутке — между ними, между розовым и синим, между тем, что только что было, и тем, что будет завтра. Здесь, в этом промежутке, мне не нужно ничего решать. Здесь тихо. Рама у окна чуть задувает, и холодный воздух щиплет ухо, если лежишь вплотную к стене — но я не двигаюсь.

Дыхание оседает паром на холодном стекле за головой — я лежу вплотную к стене, рама слегка задувает, это старый дом. Это хорошо. Холод помогает думать.

Хотя думать, может, и не нужно.

Настя появилась в октябре прошлого года.

Это была Лизина идея — познакомить нас, она об этом говорила ещё с сентября: «Ты обязательно должен её встретить, она такая...» — и тут Лиза обычно немного зависала, подбирая слово, и заканчивала: «Другая». Я не придавал этому значения. Подруга — значит, подруга.

Они встретились в кафе — том самом, нашем с Лизой, хотя тогда я не думал о нём как о «нашем». Просто кафе, просто осенний вечер, мы уже уходили, и Настя влетела в дверь с разлетающимся шарфом, с опозданием на двадцать минут, и сказала прямо с порога: «Ненавижу этот переход на Кузнецком, там всегда ветер прямо в лицо» — и засмеялась, как будто это не объяснение опоздания, а просто сообщение о погоде.

Лиза ей улыбнулась. Я смотрел.

Мы просидели ещё полтора часа.

Я помню, как ехал домой тогда, в октябре, и думал: она интересная. Живая. Думал это как нейтральный факт, без второго дна — «интересная», как можно думать про кино или про книгу. Без всякого умысла.

Умысел появился позже. Или не умысел — умысла не было никакого. Просто в какой-то момент мы оказались вдвоём — Лиза задержалась на кафедре, а мы с Настей полчаса стояли у метро и разговаривали о чём-то, чего я уже не помню, и потом она написала мне в тот же вечер: «Ты смешной», и

я ответил, и мы разговаривали до часа ночи.

Я тогда сказал себе: это ничего не значит. Люди разговаривают.

Потом был второй раз. Третий. Я каждый раз говорил себе что-нибудь успокоительное — это ненадолго, это просто, это пройдёт само, ничего не происходит, пока ничего не происходит.

«Пока» — вот где я ошибся с формулировкой. Не заметил, как оно перестало быть «пока».

* * *

Я не злодей. Это важно — не потому что я хочу себя обелить, а потому что это правда, и если я начну думать о себе как о злодее, это будет такая же неточность, как думать, что всё в порядке.

Злодей — это человек с планом. С намерением причинить вред. У меня не было ни того, ни другого.

У меня был страх. Он, если честно, до сих пор есть.

Я боюсь потерять Лизу. Это не абстракция — я представляю конкретно: её нет рядом, нет её «ты врёшь» на лекции, нет плеча, нет того ощущения, что кто-то тебя держит, даже когда не держит буквально. Лиза — это что-то вроде... я не знаю, как это назвать. Не якорь — слишком пафосно. Просто что-то устойчивое. Что-то, что не качается, когда качается всё остальное. Я никогда не умел это ценить до тех пор, пока не понял, что могу потерять, — а понял именно тогда, когда появилась Настя.

Вот ирония.

И Настю — тоже боюсь потерять. По-другому. Настя — это когда ты смотришь в окно на ночной город и у тебя что-то сжимается в груди от того, что мир большой и непредсказуемый, и это хорошо. Это — тот голос, который говорит тебе: ты живой. Не «ты в порядке» и не «ты молодец» — а просто: живой. Я не знал, что мне это нужно, пока оно не появилось.

Страх потерять одно. Страх потерять другое. И между ними — страх выбирать, потому что выбрать означает точно потерять что-то одно.

Вот и вся психология. Никаких скрытых мотивов.

Просто трусость с хорошей самооправдательной риторикой.

* * *

Знаете, что я придумал? Систему.

Синие дни — Лиза. Розовые — Настя. Координация встреч, аккуратный календарь, заблаговременные объяснения — «занят», «пары», «библиотека». Логистика выверена. Риски минимизированы. Пересечений нет.

Я придумал систему — как будто у меня МВА, а не медицинский.

Как будто я управляю чем-то, что можно разложить по ячейкам и закрыть крышкой.

Смешно, если бы не было так буквально правдой: я именно это и делаю. Открываю календарь, смотрю на цветные маркеры, меняю розовый на синий. Как будто от этого что-

то меняется внутри, а не только в приложении.

Говорят, что люди, которые продумывают детали, делают это от тревоги. Что детальность — это попытка взять под контроль то, что не контролируется. Нас этому учили на втором курсе, кажется — что-то про копинг-стратегии. Я слушал тогда вполуха.

Сейчас думаю: хорошо, что хотя бы вполуха.

* * *

Экран снова гаснет. Я разблокирую.

Открываю Лизу первой. Она написала коротко — у неё почти всегда коротко, она не тратит слов зря: «Ты доехал?»

Три часа назад мы виделись на лекции. Просто проверяет. Это Лиза — она не объясняет, зачем спрашивает, просто спрашивает, и это само по себе уже что-то значит.

Я пишу: «Да, давно. Как ты?»

Пауза. Открываю Настю.

Настя написала голосовым — разумеется. Я слушаю в наушнике: она рассказывает про сериал, который посмотрела полчаса назад, говорит «это вообще ни в какие ворота», потом смеётся над собой, потом добавляет: «Ты спишь уже, наверное. Ладно». Голосовое обрывается.

Я печатаю ей: «Не сплю. Что за сериал?»

Отправляю.

Потом возвращаюсь к Лизе — она уже ответила: «Нормально. Разбираю конспекты. У тебя завтра Коваленко?»

«Да. У тебя тоже?»

«Да. Увидимся тогда».

Тепло. Просто, без лишнего — и в этой простоте столько всего, что я не пытаюсь разобрать. Просто: увидимся. Мне от этого хорошо.

Настя отвечает почти сразу — печатает быстро, с опечатками, которые не исправляет: «не спишь! хорошо. сериал называется [тут название которое я уже забыла] там мужик такой тупой что я кричала в подушку». Потом ещё: «расскажу завтра если хочешь».

Я отвечаю: «Хочу».

Это правда.

Оба ответа — правда. Вот в чём штука. Я не притворяюсь ни с одной из них — я действительно рад, что Лиза разбирает конспекты и что завтра увидимся, и действительно хочу услышать про сериал. Оба чувства настоящие. Оба одновременно.

Это, наверное, и есть самое странное — что мне не приходится играть. Что мне не нужно ничего изображать.

Я не знаю, лучше это или хуже.

* * *

Телефон кладу на грудь. Смотрю в потолок.

Фонарные пятна медленно смещаются — наверное, ветер качает кроны, хотя деревьев перед окном почти нет, один тонкий клён. Тени и так.

Система работает. Это я знаю точно — пока работает. Пересечений нет, логистика держится, обе думают, что я про-

сто занятой человек, каким и являюсь, в конце концов, — четвёртый курс, это не шутки. Всё объяснимо. Всё в рамках.

Последнее, что я думаю перед тем, как провалиться в сон — не вина. Не тревога. Просто спокойное, почти механическое: система работает.

Пока.

Я засыпаю с телефоном в руке.

* * *

У нас с Лизой есть столик.

Не наш в том смысле, что мы его бронируем или что на нём табличка с именами, — просто угловой, у окна, где подоконник чуть шире и можно поставить сумку, не ставя её на пол. Мы садимся сюда каждый раз, когда приходим сюда вместе, а приходим примерно раз в неделю — иногда чаще, если кто-то из нас застрял рядом после пар и написал другому «зайдёшь?». Официанты здесь уже знают, что Лиза берёт флэт уайт без сахара, а я — американо и в девяти случаях из десяти добавляю круассан, которого не планировал.

Это место за последние несколько месяцев успело стать чем-то вроде якоря — не торжественного, не особенного, просто: постоянного.

Сегодня пришли после второй пары. На улице уже смеркалось раньше обычного, мокрый асфальт блестел под фонарями, и здесь, внутри, пахло кофе и чуть сыростью от чужих курток. Мы сняли куртки, сели, и всё само собой встало на места — Лиза придвинула к себе меню, которое всё равно

не смотрела, я проверил, не шатается ли столик (шатается, всегда), подложил сложенную салфетку под ножку.

Обычный ритуал. Мне нравится, что он существует.

— У нас Коваленко завтра во вторую пару, — говорит Лиза, не отрываясь от телефона. Она не спрашивает — констатирует. — Ты конспект по ферментопатиям закончил?

— Закончил.

— Сбросишь?

— Уже, вчера ещё.

Она смотрит в телефон, потом кивает: нашла. Убирает его. Я замечаю, как она расправляет плечи, когда откидывается на спинку стула, — небольшое движение, которое у неё означает: ладно, учёба в сторону, теперь просто сидим.

Кофе приносят быстро. Мой круассан — тоже, хотя я не заказывал; официантка просто поставила тарелку и ушла. Лиза смотрит на это с лёгкой улыбкой.

— Ты им нравишься.

— Круассан нравится, — говорю я. — Им нравится, что я беру круассан.

Она обхватывает чашку двумя ладонями — привычка, хотя флэт уайт остывает быстро и держать его так особого смысла нет. Просто так делает. Я знаю эту привычку. Это странно — знать чужие привычки до такой степени, что они перестают быть заметными, а потом вдруг снова начинают.

— Настя сегодня прислала мне голосовое, — говорит Лиза. Голос у неё спокойный, немного смешливый — интона-

ция «сейчас расскажу что-то, от чего закатишь глаза». — Про какой-то сериал. Кричала в подушку.

Я улыбаюсь в нужном месте — это получается само, без усилий, потому что история действительно смешная, я про этот сериал уже слышал. Слышал три часа назад, голосовым, в наушнике, стоя у подъезда.

Что-то сжимается внутри — аккуратно, без боли, просто сжимается и отпускает. Как будто кто-то ненадолго стиснул кулак под рёбрами.

— Она всегда так про сериалы, — говорю я.

— Всегда. Я уже привыкла получать голосовое в два ночи с криком «ты смотрела это?». — Лиза качает головой, но улыбается. — Она потом полчаса пересказывает сюжет, я уже всё знаю, зачем смотреть.

— Затем, что она рассказывает лучше, чем оно есть.

— Именно. — Лиза смотрит на меня с чем-то похожим на одобрение. Как будто я правильно ответил на вопрос, который она не задавала. — Ты её понимаешь.

Я пью кофе. Он горький, правильно горький, без молока.

— Слушай, — говорит Лиза, и по интонации я слышу: сейчас что-то важное, не срочное, но важное. — Я хочу вас познакомить нормально. Не так, чтобы столкнуть в коридоре или чтобы она просто мелькнула — а по-настоящему. Посидеть втроём, поговорить. Вы же понравитесь друг другу.

Я смотрю на неё.

Она говорит это искренне — с той уверенностью, с кото-

рой говорит всё, что уже обдумала и решила. Лиза не бросает слова просто так; если она говорит «вы понравитесь друг другу», значит, она в это верит, значит, она, скорее всего, уже придумала, где и когда, просто пока не сказала.

— Конечно, — говорю я.

Слово выходит ровно. Мягко. Именно таким, каким должно быть.

Оно стоит мне больше, чем она думает. Не потому что я не хочу — а потому что я не знаю, где в этом предложении кончается правда и начинается то, для чего у меня пока нет названия. Мы понравимся друг другу — мы уже понравились. Вот только это «уже» Лизе знать необязательно.

— Хорошо, — говорит она просто и смотрит в окно.

Снаружи фонарь качается на ветру, и тени на мокром тротуаре двигаются — ленивые, медленные. Лиза смотрит туда, и что-то в её лице становится тихим: не грустным, просто — тихим. Она умеет вот так уходить в себя на несколько секунд, не теряя нити разговора, не уходя никуда — просто отдыхая.

Я смотрю на неё.

Профиль, полуосвещённый — свет из кафе жёлтый, уличный холодный, и они встречаются на её щеке. Она держит чашку двумя руками. Волосы убраны за ухо. Она не смотрит на меня.

Мысль приходит спокойно, без драмы: она заслуживает лучшего.

Не «лучше, чем я», не «лучшего, чем это» — просто: за-

служивает лучшего. Как факт. Как что-то, что я знаю про неё так же точно, как знаю, что она берёт флэт уайт без сахара и что Коваленко у нас завтра во вторую пару.

Мысль приходит и уходит.

Не задерживается. Я позволяю ей уйти.

Лиза возвращается взглядом — смотрит на меня и чуть щурится, как будто проверяет: ты здесь?

— О чём думаешь?

— Ни о чём, — говорю я. — Смотрю на улицу.

Она принимает это. Снова берёт чашку.

Я тянусь к телефону — привычным движением, каким проверяют время, — разблокирую экран.

Настя написала двадцать минут назад. Я вижу первые слова уведомления — «слушай, а ты завтра — » — и сразу убираю телефон обратно в карман. Быстро, аккуратно. Экран гаснет.

Лиза не замечает. Она смотрит в свою чашку, дует на кофе, хотя он уже давно остыл.

Я замечаю, что убрал.

Это само по себе ничего не значит — просто невовремя, просто контекст не тот, я отвечу позже, всё нормально. Так я себе и говорю. Это нормально.

Но я замечаю.

— Круассан возьмёшь половину? — спрашиваю я.

Лиза смотрит на тарелку с видом человека, который сейчас скажет «нет», — и берёт половину.

— Ты каждый раз спрашиваешь, как будто я могу отказаться, — говорит она.

— Ты каждый раз берёшь, как будто хотела с самого начала.

— Может, и хотела.

Она откусывает. Смотрит в окно. Я смотрю туда же — на фонарь, на тени, на мокрый асфальт, который отражает огни машин длинными рыжими полосами.

Телефон в кармане молчит.

Здесь хорошо. Здесь тепло, и кофе правильный, и Лиза рядом, и всё на своих местах — наш столик, наш ритуал, наш обычный вечер после пар.

Система работает.

Я допиваю американо и не думаю о том, что сообщение всё ещё там.

* * *

Я возвращаюсь домой около десяти.

Съёмная комната встречает меня так, как всегда встречает: запахом чужого ремонта, который я никогда не заказывал, и тишиной, которую сам же заполняю звуком шагов, звяканьем ключей, щелчком выключателя. Три квадратных метра прихожей, потом комната, потом окно в торце — всегда одно и то же. Привычный порядок вещей.

Я снимаю куртку. Вешаю на крюк.

Телефон кладу на стол лицом вниз.

Потом сажусь на кровать и достаю его обратно.

Приложение с календарём открывается само — я открываю его несколько раз в день, это уже физиология, условный рефлекс. Скроллю. Октябрь выглядит правильно: синие и розовые дни чередуются с аккуратностью, которой я втайне горжусь. Синий — среда. Розовый — четверг. Синий — суббота. Розовый — воскресенье. Паузы, буферы, ничейные дни — серые, нейтральные, они есть всегда, потому что система должна дышать. Система с запасом.

Я смотрю на экран.

Ровно. Всё ровно.

* * *

Лиза даёт мне то, что я не умею называть правильным словом, поэтому называю «спокойствием». Рядом с ней нет ощущения, что я сейчас скажу что-то не то, сделаю что-то не то, нарушу какое-то правило, о котором не знал. Она не меняет правила на ходу. Она флэт уайт без сахара, Коваленко во вторую пару, круассан пополам — и это не скука, это надёжность. Это когда знаешь, на каком берегу стоишь.

Настя — другое. С Настей у меня всегда есть ощущение, что я пропущу что-то важное, если отвлекусь на секунду. Она смеётся прежде, чем успевает додумать, почему смешно, — и ты смеёшься следом, потому что иначе нельзя. С ней хочется быть быстрее, острее, живее — как будто она поднимает температуру в помещении самым фактом своего присутствия.

Я говорю себе, что это разные вещи.

Я говорю себе, что они не противоречат.

Звучит почти убедительно. На самом деле звучит именно так — почти. Но я уже несколько месяцев тренируюсь не слышать это «почти», и прогресс, надо признать, впечатляющий.

* * *

Потом я думаю о том, что сказала Лиза сегодня в кафе.

Не сказала прямо — Лиза никогда не говорит прямо то, что можно сказать в обход. Она упомянула, что давно не виделась с Настей нормально. Что надо бы как-нибудь собраться. Что мы все трое могли бы. Она сказала «как-нибудь», и голос у неё был такой, как будто это просто мысль вслух, ничего конкретного, просто идея.

Но Лиза не говорит ничего просто так.

Я в этом убеждён. Она из тех людей, у которых каждое «как-нибудь» имеет дедлайн.

Я раскрываю январь в приложении — по привычке, потому что надо куда-то смотреть. Январь пустой, розово-синий, нетронутый, как свежий лист. Потом возвращаюсь к октябрю.

Всё нормально. Ситуацию надо скорректировать, но это поправимо. Если Лиза предложит что-то конкретное — я буду занят. Не в этот раз. Может быть, потом. Откладывать несложно, когда знаешь, как это делается: немного рассеянности, немного реальной загруженности, немного «давай на следующей неделе». Это не ложь — это навык управления

расписанием. У меня четвёртый курс, у меня зачёты, у меня Коваленко и микробиология и ещё восемь предметов, которые я помню примерно в той мере, в которой они мне напоминают о себе.

Хороший план.

Почти профессиональный.

Жаль, что я не учёл одну переменную.

* * *

Я сижу с телефоном в руках и жду, пока сам себе скажу, какую.

Не говорю.

Это привычка — останавливаться ровно перед тем местом, куда не хочется заходить. Я умею делать это красиво: думаю вплотную, почти касаюсь мысли, и в последний момент переключаюсь на что-то другое — на звук за окном, на то, что надо поставить чайник, на то, что завтра первая пара и лучше лечь пораньше. Это не трусость. Это, я бы сказал, рациональное распределение внимания.

За окном машина проезжает по луже. Долгий мокрый звук — и тишина.

Я смотрю в потолок. Там трещина, которую я знаю наизусть — от угла над дверью до середины лампы, немного правее. Я жил в этой комнате полтора года и ни разу не сообщил хозяйке про трещину. Она не расширяется. Просто есть.

Телефон в руке снова загорается — Настя пишет что-то

про завтрашний день, я вижу три-четыре слова уведомления и убираю экран. Потом открываю снова, отвечаю коротко, убираю ещё раз.

Потом открываю календарь.

Октябрь. Синий, розовый, серый, синий, розовый.

Всё на месте.

Я провожу пальцем вперёд — ноябрь, декабрь — и там тоже будет место для синего и розового, потому что я умею планировать, потому что у меня хорошая память и хороший глазомер и достаточно здравого смысла, чтобы не делать глупостей.

Это я себе говорю.

Я закрываю приложение.

* * *

В комнате тихо. Батарея слева иногда щёлкает — терморегулятор, ничего страшного, — и этот звук единственный, который здесь есть. Я мог бы включить что-нибудь фоном, музыку или подкаст, но не включаю. Мне нравится, когда тихо. Мне нравится эта комната, честно говоря: маленькая, своя, с трещиной в потолке, которую я знаю, как знают старого знакомого — без симпатии, но с привычкой.

Я кладу телефон на стол.

Смотрю в окно — фонарь на улице горит, под ним лужа, в луже фонарь отражается чуть смещённым, как будто там другой фонарь, неточная копия. Я думаю, что это красиво, и сразу думаю, что думать «это красиво» про лужу в октябре

— признак либо усталости, либо сентиментальности, и я не уверен, что мне нравится ни то ни другое.

Лиза сказала «как-нибудь».

Настя написала про завтра.

Я ответил «окей» и поставил телефон.

Система работала.

Я в это верил.

И это, наверное, было самой большой проблемой.

Лиза, которой я верю

Тема на доске — ветви подмышечной артерии — написана мелом, слегка скошена вправо. Наш преподаватель, Геннадий Иванович, никогда не держит мел ровно. Я это знаю уже четыре года и каждый раз смотрю на эту скошенность как на что-то почти фирменное — как подпись.

Я пишу быстро, не торопясь думать. Рука сама знает, что делать: сначала структура, потом ответвления, потом — отдельной строкой, в рамке — клинически важное. У меня есть система для конспектов, выработанная со второго курса, и я ей не изменяю. Кто-то фотографирует доску. Я никогда не фотографирую — фотография не учит, она просто откладывает учёбу на потом, а потом обычно не наступает.

За окном аудитории — небо цвета застиранного постельного белья. Октябрь.

Я думаю: пара, потом кафе, потом Никита вечером. Этот порядок у меня в голове примерно с восьми утра, когда я проснулась и первым делом — ещё не до конца соображая — проверила, что в расписании нет сюрпризов. Сюрпризов не было. Это хорошо. Я не люблю сюрпризы в расписании.

Геннадий Иванович говорит что-то про анастомозы — я успеваю записать раньше, чем он заканчивает фразу. Соображаю на шаг вперёд. Это тоже привычка.

Слева от меня Катя Воробьёва листает что-то в телефоне

под столом, думая, что незаметно. Справа — Артём, с которым мы сидим с первого курса в силу алфавитного порядка, склонился над конспектом так, что кажется, вот-вот носом достанет до бумаги. Он близорукий и забывает надевать очки. Я говорила ему об этом дважды — он каждый раз обещал исправиться и каждый раз забывал. Теперь не говорю.

— Итак, — Геннадий Иванович поворачивается к аудитории, — кто скажет, где проходит грудо-акромиальная артерия?

Пауза. Та пауза, которую я хорошо знаю: двадцать с небольшим человек одновременно делают вид, что очень внимательно изучают свои записи.

Я поднимаю руку.

Не из желания выделиться — просто знаю ответ, и молчать, когда знаешь ответ, кажется мне каким-то мелким мошенничеством. Как будто притворяешься меньше, чем ты есть.

— Проходит через ключично-грудную фасцию, — говорю я. — Делится на ветви: акромиальную, ключичную, дельтовидную и грудные.

— Верно, — говорит Геннадий Иванович без особенного восторга. Он никогда не хвалит с восторгом — только это сухое «верно», как штамп. Но я давно научилась слышать в этом штампе то, что нужно.

Артём рядом тихо выдыхает — облегчённо, что не его спросили.

Я смотрю в конспект и думаю: хорошая клиника — это именно так. Там тоже не будут хлопать в ладоши. Там будут говорить «верно» — или молчать, если неверно. И нужно уметь работать в обоих режимах. Я представляю себе это иногда — не мечтательно, а практически, как представляют маршрут перед дорогой: ординатура, специализация, потом — либо научная база, либо практика в стационаре, пока непонятно что лучше, надо посмотреть на четвёртом-пятом году. Я это представляю и чувствую что-то вроде спокойной уверенности — не эйфории, а просто: да, туда.

Геннадий Иванович переходит к следующей теме. Мел скрипит по доске.

Я пишу.

* * *

— Лиз, — шёпот слева — это всё-таки Катя, убравшая наконец телефон. — Вы с Настей в эту субботу никуда не идёте?

— Не знаю пока, — говорю я так же тихо, не отрываясь от конспекта.

— Потому что у Кирилла будет что-то. Он снял место на Курской, говорит, нормальное.

— Посмотрим.

— Ты всегда «посмотрим». — Катя улыбается — я вижу краем зрения. — Потом не приходишь.

— Иногда прихожу.

— В прошлый раз ты пришла на сорок минут и ушла.

— Зато честно пришла.

Катя тихо смеётся. Я тоже чуть улыбаюсь — она необидчивая, это хорошее качество — и возвращаюсь к конспекту.

Субботы у меня уже нет. Я это знаю, хотя не говорю Кате, потому что объяснять — долго, и потому что она всё равно спросит «а почему не возьмёшь его с собой», и придётся объяснять, что Никита не очень любит такие компании, и тогда пойдут вопросы, и я не хочу вопросов. Суббота у меня — это Никита. Мы, кажется, договорились насчёт кино, хотя ещё не выбрали что. Он напишет в четверг.

Я это знаю так же твёрдо, как знаю ветви подмышечной артерии.

* * *

Между темами Геннадий Иванович делает паузу — листает какие-то бумаги, мы все этим пользуемся по-разному. Артём разминает шею, запрокинув голову. Катя снова тянется к телефону. Кто-то в задних рядах шуршит пакетом с едой — осторожно, по миллиметру.

Я смотрю в окно.

Небо не изменилось — всё то же застиранное, бесцветное. На подоконнике снаружи сидит голубь, нахохлившийся и явно недовольный октябрём. Я его понимаю.

Я думаю о Никите.

Это происходит само, без усилий — как фоновый процесс, который работает, пока я занимаюсь чем-то другим. Я не придумываю ничего особенного: просто образ, очень кон-

кретный — он в своей синей толстовке, которая ему чуть велика в плечах, сидит напротив меня в кафе и режет вилкой что-то, чего заказывать не следовало, потому что неудобно. Он всегда заказывает неудобное — что-то с соусом, что-то слоёное, что-то, что разваливается. И каждый раз делает вид, что всё нормально. Я это замечаю и молчу, потому что если скажу — он смутится и будет смущаться весь вечер, а это жалко.

Это тепло — то, что я сейчас чувствую. Тихое, без острых краёв. Не захватывающее — но настоящее, как хорошая привычка, которой доверяешь именно потому, что она не подводит.

Мы вместе уже почти год. Сначала была просто пара по анатомии — мы попали в одну подгруппу на препаровку, и он оказался аккуратным, что неожиданно, и немного занудным в хорошем смысле — то есть делал всё правильно, не торопился, не халтурил. Я это оценила. Потом был кофе после пары — один раз, случайно, потому что мы шли в одну сторону. Потом ещё раз, уже не случайно.

Я не умею описать, когда именно это стало чем-то. Не было момента — был постепенный сдвиг, как смещение освещения осенью: не замечаешь, пока не поймёшь, что уже темно.

Надёжность — вот что это такое. Я подбираю это слово сейчас, глядя на голубя на подоконнике, и понимаю, что оно точное. Не скучное — именно точное. Надёжность — это то,

на что можно опереться и не думать каждую секунду, держит ли. Это ценно. Это — не все понимают — редко.

Настя, когда я однажды сказала что-то похожее, сделала такое лицо — не злое, но скептическое, — и спросила: «А от него не скучно?» Я тогда засмеялась, потому что это очень Настин вопрос. Настя живёт по другому принципу: ей нужно чтобы было интересно каждую минуту, иначе — зачем. Я её люблю именно за это, хотя сама так не умею и не хочу. Мне не нужно каждую минуту. Мне нужно чтобы было хорошо — стабильно и без неожиданных провалов.

С Никитой хорошо. Стабильно.

Я возвращаю взгляд с окна на конспект.

Голубь на подоконнике сидит ещё минуту, потом улетает. Я не слежу — уже пишу.

* * *

Геннадий Иванович говорит про коллатеральное кровообращение, и я записываю быстро, аккуратно, оставляя поля для пометок. Потом анастомозы — снова, подробнее. Потом клинические случаи, которые он приводит как примеры: старуха с тромбозом, мужчина после травмы, студент, который перепутал сосуды на экзамене и «до сих пор, наверное, не понял, как ему повезло, что это был только экзамен». Аудитория негромко смеётся.

Я тоже смеюсь — мне нравятся его клинические истории. В них всегда есть что-то настоящее, не учебниковое — запах реального, что ли. Именно это я хочу: чтобы знание было

живым, чтобы когда ты произносишь «грудно-акромиальная артерия», за этим стояло что-то, а не просто слова в рамке конспекта.

Катя снова наклоняется:

— Лиз, ты конспект дашь потом переснять? Я пропустила начало.

— Дам, — говорю я. — Только сначала сама перечитаю.

— Ты всегда перечитываешь сначала.

— Да, надо же всё перепроверить, а так же ещё и подучить информацию.

Она снова улыбается — беззлобно — и отворачивается.

Я смотрю на страницу конспекта. Ровные строки, аккуратные рамки, стрелки в нужных местах. Всё на своём месте. Пара кончится через двадцать минут, потом — кафе, потом — вечер, потом — Никита.

Всё на своём месте.

Я пишу дальше — ровно, не торопясь, — и за этим ровным движением руки по бумаге есть что-то успокаивающее, почти медитативное. Мел скрипит. Артём хрустит шейей. Где-то в задних рядах наконец добрались до пакета с едой.

Октябрь снаружи остаётся октябрём.

Мне хорошо.

* * *

Я замечаю его раньше, чем он меня.

Просто силуэт у стены — знакомый, чуть сутулый, с телефоном в руке, как будто он сто раз уже собирался убрать его

в карман и всё никак. Коридор после пары — шумный, тесный, все одновременно встают, собирают конспекты, двигаются к выходу, — а он стоит немного в стороне от этого потока, опираясь плечом о стену, и смотрит в экран. Я останавливаюсь на пороге аудитории на секунду — одну, не больше, — пока Катя сзади не говорит «ой, прости» и не задевает меня локтем.

Я иду дальше.

Что-то в этом силуэте — в том, как он стоит, как держит телефон — успокаивает. Не восхищает, не бьёт под рёбра. Просто успокаивает. Как знакомая мелодия в фоне: ты её не слушаешь, но без неё было бы как-то пусто.

— Ты здесь, — говорю я.

Он поднимает взгляд. Улыбка — не широкая, привычная, та, с которой у него немного собираются морщинки у глаз.

— Я здесь, — соглашается он.

— Ты мог просто написать.

— Мог.

— Но пришёл.

— Но пришёл.

Он убирает телефон — наконец — и смотрит на меня с той же спокойной улыбкой. Я перехватываю папку в другую руку, и мы идём вместе вдоль коридора, туда, где чуть меньше людей. Это тоже привычно: мы всегда немного смещаемся в сторону от основного потока, как будто оба инстинктивно ищем, где меньше шума.

— Ну как пара? — спрашивает он.

— Коллатеральное кровообращение. Анастомозы. Клинические случаи.

— Интересно?

— Когда он про случаи — да. Он рассказывает это так, что хочется уже наконец оказаться в настоящей ситуации. Не потому что страшно, а потому что понятно: это то, что всё значит. — Я чуть запинаясь. — Звучит странно?

— Нет, — говорит он. — Нормально звучит.

Я смотрю на него сбоку. Он не пытается подхватить тему, не задаёт следующий вопрос — просто идёт рядом. Это тоже привычно. Мне не нужно постоянно поддерживать разговор, не нужно следить, не стало ли скучно, не надо подбирать слова так, чтобы было интересно. Можно сказать «коллатеральное кровообращение» — и это прозвучит нормально, потому что для него это просто часть моей жизни, а не повод переключиться на другую тему.

Настя, помню, однажды сказала: «Лиз, ты когда начинаешь про учёбу, у тебя лицо другое становится». Я тогда спросила, какое. Она подумала и сказала: «Серьёзное. Как будто ты сразу на двадцать лет старше». Это не было комплиментом и не было упрёком — просто наблюдение. Настя замечает такие вещи и говорит их вслух, не думая, как они прозвучат.

Никита ничего такого не говорит. Он просто идёт рядом. Мы выходим на лестничную площадку — здесь чуть про-

сторнее, гул голосов становится ровнее, глуше. Из высокого окна видно двор, серый октябрьский двор с облетающей берёзой и несколькими скамейками, на которых никто не сидит: слишком холодно. Стекло запотело с нижнего края — чуть-чуть, тонкой полосой — и береза за ним выглядит ещё размытее, чем есть.

— Сегодня вечером не смогу, — говорит Никита.

Он говорит это буднично, без предисловий. Просто информация, как расписание. Я не сразу отвечаю — не потому что мне нужно подбирать слова, а потому что этот переход занимает секунду.

— Ладно, — говорю я.

— Дела.

— Угу.

Я смотрю в окно на берёзу. Дела — это просто дела. У него есть жизнь вне меня: друзья, дела, обязательства, что-то ещё. Это нормально. Я сама не рассказываю ему каждую деталь своего дня — не потому что скрываю, просто не всё требует объяснений. Мы не из тех пар, которые держатся за телефон и тревожатся, если другой не ответил двадцать минут.

Мне это нравится. Или я привыкла, что мне это нравится, — не знаю, есть ли между этим разница.

Что-то едва уловимое мелькает где-то на краю — не тревога, не обида, что-то вроде лёгкой пустоты на том месте, где мог бы быть вечер. Я не успеваю понять, что именно, — да и не пытаюсь. Это глупо. У него дела, у меня завтра колло-

квиум, у меня Настя сегодня в кафе, у меня полный вечер, мне незачем думать о том, что не случится.

Я гашу это, как гасят огонёк свечи — просто накрываешь ладонью, не смотришь.

— Тогда завтра, — говорю я.

— Завтра, — соглашается он.

Он чуть наклоняется и касается моего виска губами — быстро, как будто ставит точку. Это тоже привычный жест: не спрашивающий, не ждущий ответа, просто привычный. От него остаётся тепло на коже — секунду, не дольше.

— Не опоздай на следующую пару, — говорит он.

— Я никогда не опаздываю.

— Знаю. Поэтому и говорю — не трать время на меня.

Я улыбаюсь. Это тоже привычно — эта интонация, слегка самоироничная, почти незаметная.

— Не трачу, — говорю я.

Он кивает и идёт обратно по коридору, туда, откуда мы пришли. Я смотрю ему вслед одну секунду — знакомый силуэт, знакомая сутулость, телефон уже снова в руке, — и отворачиваюсь.

Лестница. Следующий этаж. Фармакология в 320-й аудитории, которая начнётся через десять минут.

Я начинаю спускаться.

В голове уже — список: переписать часть конспекта по анастомозам, отдать Кате сфотографировать до вечера, прочитать третью главу по фармакологии, потому что Рябова

любит спрашивать именно то, что кажется второстепенным. После пар — кафе, Настя в три. Она написала вчера поздно: «приду, есть что рассказать», что обычно означает либо что-то смешное, либо что-то про какого-то нового человека в её жизни. У Насти всегда есть что рассказать.

Ступени под ногами — ровные, знакомые. Я иду быстро, не придерживаясь за перила: незачем.

Вечер без Никиты — это просто вечер. Таких было много, будет ещё. Это не пустота, это просто — своё пространство. У меня есть чем заполнить. Я умею заполнять пространство без тревоги — это, наверное, одно из немногих умений, которыми я по-настоящему горжусь.

Второй этаж. Запах коридора — знакомый, чуть казённый, смешанный с чьим-то кофе из термоса. Дверь в 320-ю приоткрыта, внутри уже голоса.

Я думаю: он пришёл. Мог написать — пришёл. Это приятно. Это не огромный жест, не событие, просто — пришёл, и мы прошли по коридору, и он сказал, что вечером занят, и это всё нормально. Это так и должно быть. Отношения — это не про постоянные события. Это про то, как тебе рядом, когда ничего не происходит.

Мне рядом — хорошо.

Я толкаю дверь в аудиторию и прохожу к своему месту у окна. За стеклом — двор с берёзой, октябрь, серо и спокойно.

Я достаю тетрадь.

Она не спрашивает, потому что доверяет — это я понимаю про себя позже, когда уже сижу на месте и Рябова закрывает дверь, и пара начинается, и голос лектора ровно заполняет аудиторию. Не думаю об этом специально — просто замечаю, как факт: он сказал «дела», я сказала «ладно», и этого было достаточно. Ни одного лишнего вопроса.

Это называется доверие. Или это называется — мне комфортно так. Не знаю, есть ли между этим разница.

Наверное, нет.

Рябова пишет на доске формулу, и я начинаю записывать — ровно, аккуратно, с полями для пометок.

* * *

Оранжевая ветка в час пик — это отдельный вид медитации. Принудительной.

Я стою у дверей, прижатая к поручню спиной чужого рюкзака, наушники в ушах, Земфира поёт что-то тягучее и правильное. За окном — темнота туннеля, которая иногда разрывается серыми бетонными стенами с блёклыми граффити. Я смотрю в стекло и вижу своё отражение — бледное, немного расплывчатое, как будто меня здесь нет, а есть только контур.

Фармакология закончилась в половине третьего. Рябова дала задание к следующей паре — выучить механизмы действия трёх групп антибиотиков, включая побочные, которые, по её словам, «вы будете знать лучше, чем собственных родителей». Я записала. Потом полчаса помогала Кате разо-

браться с конспектом по анастомозам, дала сфотографировать свои схемы, получила в ответ шоколадку и искреннюю благодарность. Потом вышла в октябрь.

Октябрь здесь — на улице, за окном вагона, пока поезд выныривает между станциями на открытый участок — серый и немного мокрый. Деревья вдоль путей уже потеряли цвет. Небо низкое. Мне это нравится: осень в Москве — это как очень честный человек. Никакой красоты ради красоты. Всё как есть.

Я думаю о практике.

Весной — распределение. Это не «скоро», это — уже реально. Уже через несколько месяцев надо будет знать, в какое отделение просить направление, с кем говорить, чтобы говорить с нужными людьми. У меня есть список — не записанный нигде, только в голове, но я знаю его наизусть: горбольница номер один, или Склиф, или — если получится, если всё сложится — частная клиника на «Маяковской», та самая, о которой Марина Сергеевна с кафедры терапии говорила как о «настоящей медицине». Я тогда записала название в телефон и с тех пор периодически смотрю на него.

Клиника «Архангельская».

Смешное название для места, где я хочу работать. Немного торжественное, немного не отсюда. Но там — платная диагностика, современное оборудование, врачи, которые учатся за рубежом на конференциях, а не в интернете по ночам из-за отсутствия финансирования. Там — то, ради чего я сю-

да поступила.

Поезд тормозит, двери открываются, кто-то вваливается, кто-то выходит, меня слегка прижимает к стеклу. Я не двигаюсь. Земфира в ухе.

Мне иногда кажется, что я единственная на курсе, кто знает, зачем он здесь. Это звучит высокомерно, я понимаю. Но я имею в виду другое: не «я умнее» — а просто у меня есть конкретная картинка в голове. Не абстрактное «стать врачом». А конкретно: вот кабинет, вот пациент, вот диагноз, который я ставлю правильно, потому что знаю, что ищу. Четыре года назад, когда я подавала документы, мама спросила: «Ты уверена?» Я сказала: «Да». Это была, пожалуй, единственная уверенность в тот год, в котором всё остальное было очень нечётким.

Уверенность не пропала. Это хорошо.

Телефон вибрирует в кармане куртки.

Я вытаскиваю его, смотрю на экран.

Настя: я уже там, взяла тебе твой капучино, можешь не торопиться

Настя: хотя торопись, он остывает

Настя: ладно, не торопись, я попрошу подогреть

Я улыбаюсь прежде, чем успеваю осознать, что улыбаюсь.

Это — Настя. Три сообщения за сорок секунд, последнее из которых отменяет требование первого. Мой заказ она знает наизусть — капучино без сиропа, среднего размера, всегда с блюдцем, потому что я не люблю держать стакан в ру-

ках, когда думаю, люблю оставить его на месте и смотреть на него. Она запомнила это где-то на первом курсе, когда мы снова начали регулярно видаться, и с тех пор — просто знает. Не спрашивает. Просто заказывает.

Я набираю: еду, минут десять

Она отвечает сразу — одно слово и три точки:

«ладно...»

Что означает «я скучаю, но не скажу этого, потому что это было бы слишком прямо для Насти».

Мы с ней дружим с девятого класса. Это значит — семь лет. Семь лет — это много: это ссоры из-за ерунды и примирения без объяснений, это совместная подготовка к ЕГЭ на её кухне до двух ночи, это её звонок в ту ночь, когда она не поступила и не хотела говорить с мамой, — она позвонила мне. Я тогда вышла на лестницу в пижаме и говорила с ней сорок минут, пока она плакала в трубку и называла себя «тупицей», что было неправдой — она просто нервничала на экзамене, это с ней бывает.

Потом она поступила в другой университет. Другой — не медицинский. Мы обе сделали вид, что это нормально, потому что это правда было нормально, просто немного жаль. Жаль, что не вместе. Но она — здесь, в том же городе, мы по-прежнему встречаемся, она до сих пор знает мой заказ, я до сих пор знаю, что её «ладно...» с многоточием — это способ сказать «я рада».

Есть люди, которых не нужно расшифровывать. А есть те,

чей язык ты выучила, потому что это стоило труда. Настя — второе. Но этот труд давно стал привычкой, и привычка стала тем, что я называю дружбой.

Поезд замедляется. Женский голос объявляет станцию — мою.

Я убираю телефон, поправляю лямку рюкзака, начинаю протискиваться к выходу. Кто-то не успевает отойти, я говорю «простите», человек смотрит в телефон и не реагирует. Двери открываются. Я выхожу на платформу.

Станция светлая — один из тех советских проектов, которые строили с идеей о торжестве человека и светлом будущем. Мрамор, лепнина, лампы в плафонах. Сейчас это просто красиво — без идеологии, просто красиво. Я иду по платформе к эскалатору и думаю, что в этом городе архитектура как слоёный пирог: каждый слой со своей правдой, и они не особо разговаривают друг с другом.

Эскалатор наверх. Я смотрю на ступени, на спины людей впереди, на рекламный щит сбоку. Чья-то шапка съехала набок. Девочка лет пяти держит маму за руку и смотрит вверх — туда, где виден прямоугольник серого неба.

Я тоже смотрю туда.

Октябрь. Серо. Чуть пахнет дождём — тем, что уже прошёл и оставил после себя только запах мокрого асфальта и влажного листа. Мне нравится этот запах. Он честный — как вся осень.

Я выхожу на улицу и на секунду останавливаюсь.

Сегодня хороший день. Не потому что произошло что-то значительное — ничего особенного. Просто: фармакология прошла нормально, конспект готов, задание записано, Катя получила схемы, Никита зашёл между парами. А впереди — кафе, Настя с её «есть что рассказать», горячий капучино, который она уже заказала, потому что знает меня наизусть.

Есть дни, которые просто — хорошие. Без повода. Просто хорошие.

Я поправляю рюкзак и иду в сторону кафе. Под ногами — мокрая плитка, листья прибило к бордюру. Где-то сзади гудит троллейбус. Я не оглядываюсь.

Три минуты пешком. Я знаю этот маршрут так же хорошо, как схему анастомозов — и то и другое выучила методом повторения.

Впереди — поворот, потом ещё один, потом вывеска кафе, которая горит оранжевым в любую погоду и от этого всегда выглядит немного несезонно и немного приветливо. Я иду туда.

Хороший день, думаю я ещё раз.

Это важно — уметь замечать.

* * *

Запах здесь всегда один и тот же — немного корицы, немного обожжённого молока, чуть-чуть чего-то деревянного от старых столешниц. Я замечаю его каждый раз, когда открываю дверь, — и каждый раз он срабатывает как сигнал: можно расслабиться. Можно выдохнуть.

Настя сидит на нашем обычном месте — угловой диванчик у окна, пальто брошено рядом, будто она пришла час назад и уже обустроилась. Она поднимает руку, машет, ещё прежде чем я успеваю снять рюкзак. На столе — два капучино. Мой уже ждёт.

Я это замечаю и думаю: вот, она знает меня наизусть.

— Ты опоздала, — говорит она торжественно, когда я подхожу.

— На три минуты.

— Это принципиально.

Я снимаю куртку, вешаю на крючок у стенки, падаю на диванчик рядом с ней. Капучино тёплый — она заказала вовремя, значит, следила. Я обхватываю стакан двумя руками, чувствую тепло сквозь бумагу.

— Рассказывай, — говорю я.

Настя уже открывала рот, чтобы что-то сказать, — и теперь закрывает, делает театральную паузу, смотрит на меня с видом человека, у которого в кармане секрет размером с планету.

— Значит, так, — начинает она, — есть один человек.

— Один человек, — повторяю я.

— Я пока не буду говорить кто.

Я киваю. Настя умеет подбираться к теме кругами — это не хитрость, это просто так работает её голова. Она думает вслух, нащупывает слова по ходу. Я давно привыкла ждать.

— Но он... — она делает паузу, крутит стакан в руках,

смотрит на него, потом на меня. — Лиза. Понимаешь, бывают люди, с которыми тебе хорошо, но это ровно, спокойно, предсказуемо. А бывают, которые — не знаю. Что-то другое.

— Другое, — говорю я.

— Вот именно.

Она произносит «вот именно» так, будто я согласилась с чем-то важным. Я улыбаюсь и отпиваю кофе. Настя выпрямляется, подтягивает ноги под себя — у неё всегда была эта привычка, сидеть на всём, как кошка.

— И что это за человек? — спрашиваю я. — Откуда?

— Познакомились... — она снова пауза, — через общих людей. Не в универе.

— Давно?

— Нет. Ну. Не очень давно.

— Ты всегда такая конкретная.

Она смеётся. У неё хороший смех — не тот, который делают для публики, а настоящий, когда голова немного откидывается назад. Я не видела этого смеха давно — точнее, видела, но не вот так. Не с такой ненатуральностью.

— Слушай, — говорю я, — ты сейчас прямо другая.

— Какая другая?

— Лёгкая.

Она смотрит на меня секунду. Потом кивает — медленно, как будто проверяет это слово на прочность.

— Может быть, — говорит она.

Мне хочется сказать: хорошо, что у тебя кто-то есть. Я

давно не видела её такой. Настя умеет быть яркой, шумной, занять собой любое пространство — но это не то же самое, что быть лёгкой. Лёгкость — это другое. Это когда тебе не надо ничего изображать.

Я не говорю этого вслух. Просто держу стакан и слушаю.

— Он внимательный, — говорит Настя, — понимаешь? Не в смысле цветы-комплименты. В смысле — замечает. Мелочи замечает.

— Какие мелочи?

Она думает. Смотрит в окно — за стеклом мокрая улица, фонарь, кто-то с зонтом в кадре и сразу за кадром.

— Я однажды сказала мимоходом, что не люблю, когда в кафе громкая музыка, — говорит она медленно, — просто сказала, ни к чему. А он запомнил. И потом — мы куда-то шли, он предложил место, я согласилась. Зашли. Тихо, спокойно, никакой музыки. И он сказал: «специально нашёл». Вот так.

Она произносит «вот так» — и умолкает.

Я сижу с этим. Держу стакан, смотрю на неё. Что-то в этой детали — «специально нашёл» — оседает во мне странно. Не тревогой, не вопросом, просто — что-то знакомое в жесте. Кто-то тоже так делает. Кто-то, кто...

Нет.

Я сама же обрываю мысль. Это абсурд. Такие жесты — не чья-то монополия. Просто внимательный человек. Таких людей больше одного на планете.

— Это приятно, — говорю я.

— Да, — кивает Настя. — Приятно. Я не привыкла.

— Ты не привыкла, чтобы за тобой ухаживали?

— Я не привыкла, чтобы это было... не напоказ. Понимаешь? Не для меня, а для меня.

Я понимаю. Или думаю, что понимаю.

— Как давно это началось? — спрашиваю я.

Настя смотрит в стакан.

— Ну... — тянет она. — Месяц? Может, чуть больше.

— И ты только сейчас рассказываешь.

— Я ждала, пока будет что рассказывать.

— Обычно ты рассказываешь сразу, — говорю я с улыбкой.

— Обычно это другие истории.

Это правда. Настя умеет начинать истории про людей — и умеет их заканчивать, иногда раньше, чем я успеваю запомнить имя. Это другое. Я вижу это.

— Ладно, — говорю я, — я рада. Серьёзно.

— Не смотри на меня вот так.

— Как?

— Растроганно.

Я смеюсь.

— Я не растроганно, я — наблюдательно.

— Это хуже.

За окном кто-то хлопает дверью машины. Дождь начинается снова — не ливень, просто мелкая морось, та, что по-

что не слышна и оседает на стекле тонкой плёнкой. Внутри тепло. Музыка тихая — что-то фоновое, инструментальное, не мешает.

— Как у тебя прошёл день? — спрашивает Настя.

— Фарма была.

— Ой.

— Не «ой», я сдала контрольную.

— Это не делает фарму менее страшной.

— Нет, — соглашаюсь я. — Но делает мой день менее страшным.

Настя тянется за своим стаканом. Она пьёт латте — всегда латте, с ванильным сиропом, хотя каждый раз говорит, что в следующий раз возьмёт что-нибудь другое. Мы с ней — как два полюса в кофейных предпочтениях. Я горькое, она сладкое. Мы давно перестали друг другу что-то доказывать.

— Слушай, — говорит она, — у нас на прошлой неделе было — сейчас расскажу. Пара по истории, преподаватель заходит, смотрит на нас... — она начинает, и я уже знаю по интонации: сейчас будет что-то смешное. Она умеет рассказывать.

Я слушаю. Она жестикулирует — руки у неё всегда живые, чуть опережают слова. История разворачивается — про преподавателя, который принёс на пару не тот конспект, и пытался делать вид, что так и надо, и в итоге весь второй час они разбирали совсем другую тему, которую уже сдавали.

Я смеюсь. По-настоящему — этот смех не требует усилий.

— И он потом говорит, — заканчивает Настя, — совершенно серьёзно: «Надеюсь, это было полезно для систематизации материала». Просто.

— Вот честно — уважаю выдержку.

— Я тоже. Я бы провалилась сквозь кафедру.

Мы смеёмся ещё немного. Потом оба смеха сходят на нет — не резко, а как и бывает: плавно, мягко, и потом просто тишина с улыбками.

Хорошо, думаю я. Вот так и хорошо.

Настя смотрит на меня поверх стакана — немного прищурившись, как будто что-то решает.

— Ты счастливая, — говорит она вдруг.

— В смысле?

— В смысле — прямо сейчас. Ты довольная.

Я думаю. Это не вопрос, это наблюдение. Настя умеет так — сказать что-то как факт, без вопросительного знака, и ждать, что ты с этим сделаешь.

— Наверное, — говорю я. — Просто хороший день. Без причины, просто хороший.

— Никита заходил?

Я немного удивляюсь — не самому вопросу, а тому, откуда она это берёт. Хотя нет. Не удивляюсь. Она видит меня.

— Заходил, — говорю я. — Между парами.

— И?

— И ничего. Просто заходил.

— «Просто заходил», — повторяет она с интонацией.

— Настя.

— Что? Я ничего.

Она улыбается — чуть-чуть, краешком, в стакан. Я смотрю на неё и думаю: а она сейчас думает о своём? О том человеке, которого не называет по имени? О жесте — «специально нашёл»?

Что-то снова проскальзывает — маленькое, неоформленное. Где-то на краю. Я не успеваю за ним.

Не надо, говорю я себе. Это просто хороший день. Не делай из хорошего дня ничего лишнего.

За окном морось стала гуще. Фонарь мокрый, тротуар мокрый, кто-то торопится мимо, прижав подбородок к груди. А мы здесь, в тепле, с кофе, и я слышу, как Настя делает следующий глоток — и думаю, что, может быть, вот оно и есть: дружба — это когда молчание тоже в порядке вещей.

— Расскажешь мне про него больше? — спрашиваю я. — Когда сама будешь готова?

Она смотрит на меня. Что-то в её лице — на секунду, совсем чуть-чуть — становится сложнее. Потом снова разглаживается.

— Расскажу, — говорит она.

Я верю ей.

* * *

— Так как вы вообще? — спрашивает Настя.

Просто спрашивает. Тот же тон, что был секунду назад, когда мы смеялись над преподавателем с чужим конспектом.

Подруга интересуется жизнью подруги — это не требует объяснений и не нуждается в причине.

Я делаю глоток кофе. Он уже почти не горячий, но ещё тёплый — как раз.

— У нас? Хорошо, — говорю я. — Стабильно. Спокойно.

— Это хорошо?

— Это очень хорошо.

Я говорю это и понимаю, что это правда, — без оговорок и без «но». С Никитой у нас то, что принято называть надёжным. Мы не ругаемся по пустякам, не выясняем отношения в три часа ночи, не читаем подтекст там, где его нет. Он — человек, рядом с которым я не трачу силы на расшифровывание. Это редкость, и я это знаю.

— Он надёжный, — добавляю я, чуть подумав. — Вот правильное слово. Надёжный.

Настя кивает. Смотрит на меня — внимательно, чуть прищурившись. Этот взгляд я знаю: он означает, что она слушает по-настоящему, не просто ждёт своей очереди говорить. Я всегда ценила в ней это.

— То есть предсказуемый? — уточняет она.

— Нет. — Я качаю головой. — Не предсказуемый. Надёжный — это другое. Предсказуемый — это когда скучно. Надёжный — это когда можно не бояться.

Она молчит секунду.

— Понятно, — говорит она. Голос ровный, нейтральный.

Я снова делаю глоток. За окном кто-то раскрывает зонт,

и его выворачивает наизнанку от ветра, и человек останавливается на секунду — в нерешительности между «чинить» и «бросить». Потом сгибает спицы обратно и идёт дальше. Упрямый.

— Он, кстати, вчера принёс мне конспект по фармакологии, — говорю я. — Я упомянула, что не успела переписать одну тему, — и он просто принёс. Не спросил, нужно ли. Просто принёс.

Настя поднимает взгляд от стакана.

— Своей рукой?

— Своей. Он вообще всегда от руки пишет. У него почерк хороший — разборчивый, ровный. Я его иногда дразню, что он пишет как будто специально медленно, чтобы получалось красиво. Он не соглашается, но краснеет немного.

Я говорю это и улыбаюсь себе — маленькая, домашняя улыбка, не для показа. Почерк Никиты — это такая деталь, которую замечаешь не сразу. Сначала видишь человека в целом, потом начинаешь замечать, как он держит ручку, как наклоняет голову над листом, как иногда зачёркивает и пишет поверху аккуратнее, будто сам себе недоволен.

Настя слушает.

Я не смотрю на неё в этот момент — я смотрю в стакан, и поэтому не вижу её лица. Но когда поднимаю взгляд, её выражение — ровное, спокойное. Только что-то в том, как она держит стакан, чуть-чуть изменилось. Обе руки, не одна. Крепче.

Я не думаю об этом.

— Слушай, он давно вот такой? — спрашивает она. В вопросе нет ничего особенного. Подруга спрашивает, давно ли человек такой, какой он есть. Это нормально.

— Да не давно, — говорю я. — Мы только в этом году как-то устаканились. До этого — ну, знакомые, одна группа, пересекались. А потом вдруг щёлкнуло что-то. Не знаю, как объяснить.

— Не надо объяснять. Бывает.

— Бывает, — соглашаюсь я.

Настя смотрит куда-то в сторону окна. По стеклу ползёт дождевая дорожка — медленно, неровно, разветвляется на два рукава и снова сходится. Я слежу за ней секунду.

— А ты ему говорила?

— Что — говорила?

— Ну, что он надёжный. Что тебе с ним вот так.

Я думаю.

— Не в таких словах, — говорю я. — Но наверное — чувствует.

— Наверное.

В её «наверное» нет ни иронии, ни сомнения. Просто слово, поставленное туда, где иначе была бы пауза. Я принимаю его как есть.

Мне хорошо сидеть вот так. Говорить о Никите с Настей — с человеком, который знает меня дольше, чем я сама себя помню как взрослую. Это другое, чем когда разговари-

ешь с кем-то из университета. Там всегда есть налёт профессионального — мы все немного боимся выглядеть несерьёзными, немного держим осанку. А с Настей я могу сказать «щёлкнуло что-то» и не чувствовать себя неточной.

Она умеет принимать мои слова такими, какие они есть. Не правит их, не переформулирует. Просто берёт.

— Он пишет тебе по утрам? — спрашивает она.

Вопрос неожиданный. Я смотрю на неё.

— Иногда, — говорю я. — Не каждый день. Когда что-то происходит — пишет. Или просто так, если видит что-то смешное.

— Что-то смешное — это как?

— Ну, например, прислал вчера фотографию объявления на дверях кафедры. Там написано «в связи с ремонтом занятия переносятся» — и ниже, уже другим почерком, кто-то дописал «а смысл». Он такое любит. Замечает и присылает.

Настя смеётся — быстро, искренне. Потом смех затихает.

— Да, — говорит она, — смешно.

И что-то в этом «смешно» — в том, как она его произносит, будто немного помимо воли, — я не могу поймать за хвост. Что-то такое, как будто она узнала что-то, чего не ожидала узнать. Но это ощущение длится долю секунды, и потом Настя уже отворачивается к окну, и я думаю: просто показалось.

Она же не знает его. Они не знакомы.

Мне не приходит в голову ничего другого.

— Слушай, — говорит Настя, и в голосе появляется новая интонация — лёгкая, почти небрежная, — у тебя зачёт по гистологии когда?

Переключение — мгновенное, как всегда у неё. Настя умеет так: идти в одном направлении, а потом свернуть без предупреждения. Это не грубость и не нежелание слушать — это просто она. Я привыкла. Когда мы были в школе, она могла начать разговор про кино, перейти к тому, что хочет поменять причёску, потом спросить, помню ли я, как в седьмом классе мы заперлись в туалете, потому что боялись контрольной, — и всё это за пять минут, без ощущения, что что-то потерялось.

— На следующей неделе, — говорю я. — Во вторник.

— Готова?

— Почти. Ещё эмбриологию надо доделать.

— Ненавижу эмбриологию.

— Ты её не сдаёшь.

— Всё равно ненавижу. Из солидарности.

Я улыбаюсь.

— Спасибо. Поддерживает.

Настя тянется за телефоном, смотрит на экран секунду — что-то проверяет, — потом кладёт обратно лицом вниз. Этот жест я тоже знаю: она сейчас здесь, не там. Она выбирает это место, этот разговор.

За окном ветер гонит что-то по асфальту — бумажный стакан, кажется. Он катится быстро, скачет через трещину

в тротуаре, исчезает за углом. Фонарь горит, отражается в луже длинной жёлтой полосой.

Я смотрю на Настю.

Она сидит вполоборота к окну — профиль, который я знаю наизусть. Маленькая родинка под левым ухом. Привычка подбирать под себя ногу на стуле, когда расслабляется. Она сейчас расслаблена — или почти. Есть что-то, что она держит в себе, я это чувствую. Но не знаю, как спросить, и не уверена, что нужно.

Она расскажет, когда будет готова. Она сказала — расскажет. Я верю ей.

Хорошо, думаю я, что мы вот так можем. Просто сидеть в кафе в дождливый вечер, переключаться с серьёзного на смешное и обратно, говорить о зачётах и о мальчиках — и никуда не торопиться. Мы видимся не так часто, как раньше, когда были в одной школе. Тогда это было само собой разумеющимся — общий автобус, общая столовая, можно было вообще не договариваться, просто жить параллельно и встречаться в этих параллелях. Теперь надо планировать, выкраивать время, иногда переносить. Но когда мы всё-таки встречаемся — всё равно это.

Всё равно вот так.

— Ты помнишь, — говорю я вдруг, — как мы в десятом классе сидели в том кафе у школы и ты объясняла мне химию?

Настя поворачивается. На лице — что-то тёплое.

— И ты всё равно завалила контрольную, — говорит она.

— Я не завалила. Я получила тройку.

— Лиза.

— Это не заваль. Это минимально достаточный результат.

Она смеётся.

— Ты тогда сказала то же самое. Слово в слово.

— Значит, это правда.

Мы смеёмся вместе — и это хороший смех, старый, из тех, у которых есть история. Я люблю такой смех. Он не требует объяснений, потому что объяснения уже внутри него.

Настя смотрит на меня, и в её взгляде что-то мягкое. Что-то, что бывает, когда смотришь на человека и думаешь: ты — часть того, что было, и это никуда не девается.

— Слушай, — говорит она потом, чуть тише, — ты правда довольная, да? Вот в целом.

Я думаю об этом — по-настоящему, не автоматически.

Университет идёт. Никита есть. Настя вот сидит напротив, и мы смеёмся над тем, что было пять лет назад. Дождь снаружи, тепло внутри. Зачёт во вторник, и я почти готова.

— Да, — говорю я. — Правда довольная.

Настя кивает. Смотрит на меня ещё секунду — так, будто проверяет что-то. Потом отводит взгляд.

— Хорошо, — говорит она.

Просто. Без интонации. Хорошо.

Я не думаю о том, что это слово у неё звучит немного иначе, чем должно. Немного тяжелее. Я думаю: она рада за ме-

ня. Конечно, рада. Она — моя подруга, и она рада.

Я верю в это так же легко, как верила всегда.

* * *

Настя обнимает меня прямо у стойки с верхней одеждой — пальто ещё в руках, шарф наполовину намотан.

— Пока, Лиз.

Объятие крепче обычного. Не намного — может быть, я вообще это придумываю — но чуть плотнее, чуть дольше. Я чувствую её руку на спине, тепло сквозь ткань, знакомый запах её духов, который она не меняет уже года три.

— Пока, — говорю я. — Созвонимся.

— Угу.

Она отступает и улыбается мне — нормально, по-настоящему, без ничего. Я улыбаюсь в ответ. Мы выходим вместе, но на улице расходимся в разные стороны: ей на метро, мне — прямо и потом направо, пешком двадцать минут по мокрому асфальту.

— Не промокни, — говорит она через плечо.

— У меня зонт, — говорю я.

— Ты всегда так говоришь и всегда забываешь его раскрыть.

Это правда, и мы обе это знаем. Я не отвечаю. Она смеётся и идёт вниз по ступенькам к метро — быстрая, знакомая походка, локоны уже чуть влажные от моросящего дождя.

Я смотрю ей вслед секунду, может две. Потом достаю зонт и раскрываю его.

Дождь слабый, почти не дождь — просто влажность, осевшая в воздухе. Асфальт блестит. Фонари отражаются в лужах длинными рыжеватыми полосами, и если не торопиться и смотреть под ноги, то весь город выглядит перевернутым — другой Москвой, в которой всё вниз головой и немного смазано.

Я не тороплюсь.

Думаю о Насте. О том, как она сидела вполоборота к окну с этой своей привычкой подгибать ногу под себя. О том, как смеялась — настоящим смехом, который у неё всегда чуть громче, чем она сама ожидает. О том, что она что-то держала в себе сегодня — что-то про этого парня, которого не назвала, — но не стала говорить, и я не стала спрашивать, и это тоже правильно. Мы умеем так: не тянуть из друг друга раньше, чем человек сам готов.

Мы давно умеем так.

Я вспоминаю десятый класс. Кафе у школы, маленькое, с пластиковыми стульями и ламинированными меню, которые всегда были липкими. Настя объясняла мне периодическую систему, рисовала на салфетке электронные оболочки, и я всё равно написала контрольную на тройку. Но дело было не в химии, никогда не было в химии — дело было в том, чтобы сидеть вот так. Вместе, никуда не торопясь. Тогда это казалось само собой разумеющимся, а теперь я понимаю, что это было подарком, просто мы слишком молоды были, чтобы это замечать.

Теперь мы встречаемся реже. Выкраиваем время, переносим, иногда переписываемся неделями, не видясь. Но когда встречаемся — всё равно это. Всё равно вот так, как сегодня: тепло, и смех, и возможность молчать без неловкости.

Я думаю: мне повезло с ней.

Потом думаю о Никите — не потому, что специально, а просто он там, в тепле, как всегда. Как фоновый свет в комнате, который уже не замечаешь, но без которого было бы темнее. Пары завтра в девять. Значит, он будет злиться на будильник, нальёт кофе в термос, придёт чуть раньше и займёт нам места у окна — он знает, что я люблю у окна, и делает это без напоминаний, просто потому что знает.

Я думаю об этом — и внутри тепло, тихое и без усилий.

Не тот жар, который пишут в романах. Не тот, от которого руки дрожат. Просто тепло — надёжное, как плед, который всегда лежит на одном месте и никуда не девается.

Под ногами лужа, и я обхожу её по дуге, не прерывая шага.

Телефон вибрирует в кармане. Я достаю, не останавливаясь.

Никита: как ты?

Три слова. Простые. Он пишет так иногда — без повода, просто вот так, в середине вечера. Я когда-то спросила, зачем он это делает, и он сказал: «Ну интересно же». Я не стала уточнять дальше.

Я пишу:

хорошо. была с Настей в кафе. иду домой

Отправляю. Убираю телефон. Потом достаю снова — он уже ответил, быстро, как обычно отвечает вечером.

Настя — это та, которая вечно опаздывает?

Я смеюсь — вслух, на улице, сама себе. Да, та самая. Я пишу:

она опоздала на семь минут. это для неё личный рекорд пунктуальности

Пауза. Потом:

серьёзно, как ты?

Я останавливаюсь на секунду под фонарём. Смотрю на экран. Он иногда так делает — спрашивает дважды. Первый раз — дежурно, второй — по-настоящему. Я не всегда понимала разницу, но теперь понимаю.

хорошо, — пишу я. — правда хорошо. зачёт во вторник и я почти готова. настя в порядке. ты в порядке. всё примерно на своих местах.

Он отвечает одним словом:

хорошо

Я убираю телефон и иду дальше. На лице — что-то вроде улыбки, само по себе.

До подъезда ещё минут десять. Я иду медленнее, чем нужно, потому что дождь совсем стих и воздух стал чище — тот запах после дождя, влажный асфальт и где-то листья, хотя листьев здесь почти нет, только деревья вдоль дороги с голыми ветками.

Я думаю: у меня есть Настя. Есть Никита. Есть универ-

ситет, который я выбрала сама, специальность, которая мне нравится — по-настоящему нравится, не потому что так надо. Есть цель: пять лет, интернатура, и потом посмотрим. Может, частная клиника, может, что-то другое, но это будет моё.

Я думаю: я умею выбирать людей. Не идеальных — Никита забывает отвечать на сообщения, когда увлекается чем-то, Настя опаздывает и иногда уходит в себя так, что не докричишься. Но правильных. Тех, рядом с которыми не надо объяснять, кто ты.

Это редкость. Я это знаю.

Я думаю об объятии Насти у выхода — чуть крепче обычного. Это, наверное, просто вечер был хороший. Когда вечер хороший, хочется обнять человека покрепче на прощание. Я тоже так делаю иногда.

Я думаю: ей повезло со мной так же, как мне с ней.

Я верю в это — легко, без усилий, так же легко, как всегда верила. Как верю в то, что завтра будет пара в девять, что Никита придёт раньше и займёт место у окна, что во вторник я сдам зачёт и выйду из аудитории с ощущением, что всё идёт как надо.

Всё идёт как надо.

Я захожу в подъезд, складываю зонт. В зеркале у лифта — я: чуть влажные волосы, щёки розовые от холода, взгляд спокойный. Обычный вечер. Хороший.

Лифт открывается. Я вхожу.

Я думаю, что умею выбирать людей, — и не слышу в этой мысли ничего, что должна была бы услышать. Ничего хрупкого. Ничего, что могло бы треснуть.

Двери закрываются.

Настя не виновата

Потолок у меня в комнате не идеальный. Есть трещина — тонкая, от угла у окна куда-то в сторону светильника, который я давно собиралась поменять на что-то менее общажное, но так и не поменяла. Я лежу и смотрю на эту трещину уже, наверное, минут двадцать. Или тридцать. Считать мне лень.

Телефон лежит экраном вниз. Это сознательное решение — я сама перевернула его, когда легла. Потому что если он будет светиться кверху, я буду смотреть на него вместо потолка, и это, честно говоря, хуже. По крайней мере, потолок не ждёт от меня никакой реакции.

Я не пишу ему. Я решила не писать. Не потому что не хочу — хочу, очевидно, раз думаю об этом уже третий раз за полчаса, — а потому что незачем. Потому что он напишет сам, и я отвечу, и это будет нормально и правильно, и не надо делать из этого что-то большее, чем есть.

Хотя что есть — это уже другой вопрос.

Я переворачиваюсь на бок. Трещина исчезает из поля зрения, вместо неё — окно, жалюзи приспущены, сквозь пластиковые полоски прорезается уличный фонарь. Желтоватый, тусклый. Октябрь.

Думаю о том, что эта история у меня в голове уже давно разложена по полочкам. Я знаю, как она началась. Знаю, почему.

* * *

Это была пятница. Или суббота — нет, пятница точно, потому что Лиза на следующий день жаловалась на семинар в девять, и мы смеялись, что она сама виновата. Лиза позволила днём, сказала: приходи вечером, у Кости дома, там ребята с курса, будет нормально. Она всегда так говорит — будет нормально, — и обычно так и есть. Лиза умеет выбирать вечера.

Я пришла на двадцать минут позже, чем договаривались. Это не специально — это просто я. Я не умею уходить из дома вовремя, потому что всегда в последний момент нахожу что-то, что надо взять, переложить, надеть другое.

Костина квартира оказалась небольшой, но это не мешало — народу было человек восемь, всё легко помещалось на кухне и в комнате, музыка была нормальная, не слишком громкая, и на столе стояло что-то бордовое в большой бутылке. Лиза помахала мне от окна.

Рядом с ней стоял Никита.

Я не знала тогда, что он — Никита. Я увидела: высокий, тёмная футболка, говорит что-то Лизе вполголоса, и Лиза смеётся — так смеётся, как умеет только она, запрокидывая голову чуть назад.

Я подошла. Лиза сказала: это Настя, моя подруга, мы со школы. И потом повернулась к нему: это Никита, с нашего курса.

Он посмотрел на меня. Просто посмотрел — не дольше,

чем обычно смотрят при знакомстве. Но я сразу почувствовала: он меня увидел. Не в смысле «заметил, что я пришла» — а в том смысле, что смотрел, будто хотел понять, кто я. Секунды три, может, четыре. Потом сказал:

— Лиза говорила.

— Что говорила? — спросила я.

— Что ты вечно опаздываешь.

— Двадцать минут — это не опоздание, — сказала я. — Это стиль.

Он усмехнулся. Лиза засмеялась снова и потянула меня к столу — там был тот бордовый напиток, который оказался вполне приличной сангрией, и кто-то уже рассказывал историю про анатомичку, и всё пошло дальше.

Вот и всё. Знакомство.

Я тогда сразу же сказала себе: это ничего не значит. Потому что я знаю, как это работает — смотришь на человека, что-то ёкает, думаешь «ого», и дальше ничего не происходит, потому что момент прошёл и жизнь идёт своим чередом. Я умею это распознавать и не делать из этого историю.

Я не делала историю. Честно.

* * *

Я переворачиваюсь обратно на спину. Трещина на месте. Проблема в том — и я это понимаю, когда думаю спокойно, вот так, в темноте, — что потом был ещё один вечер. И ещё один. И не потому что я специально что-то планировала, а потому что Лиза звала, и логично было приходить, и Ни-

кита был там, потому что они с Лизой учатся вместе. Просто так получилось. Никто ничего не выстраивал.

Я не искала этого.

Я мысленно проговариваю это привычно, как проговаривают то, во что верят.

Я не искала этого. Так получилось.

И тут — вот именно тут — на секунду что-то происходит. Что-то маленькое и неприятное: я слышу себя. Не смысл — интонацию. Слышу, что это звучит как оправдание. Не объяснение, не простая констатация факта, а именно оправдание — такое, которое произносят, когда знают, что кто-то мог бы спросить.

Кто спросил бы?

Я быстро убираю этот вопрос. Не то чтобы специально — просто мозг переключается, как он всегда переключается, когда нащупывает что-то неудобное.

Никто не спрашивал. Всё нормально.

Я думаю о том вечере у Кости и о его взгляде — три секунды, четыре — и о том, что Лиза смеялась, запрокинув голову, и была красивая, как всегда, и счастливая, и это тоже правда, это тоже часть картины, и я не стираю её из памяти, нет. Лиза там была. Лиза была рядом. Просто так получилось, что потом всё сдвинулось — само, без усилий, без умысла, — и я тут ни при чём.

Я ни при чём.

Телефон загорается.

Я вижу это боковым зрением — экран, повёрнутый вниз, и всё равно свет пробивается сквозь ткань одеяла, куда я его, оказывается, частично задвинула. Один раз. Значит, сообщение.

Я тянусь к нему раньше, чем успеваю решить — стоит ли, хочу ли, надо ли. Просто рука уже тянется. Переворачиваю.

Никита.

И я улыбаюсь.

Не потом, не когда открываю сообщение и читаю — а сразу, в первую секунду, когда вижу имя на экране. Раньше любого текста. Просто имя — и уже улыбка, сама по себе, без моего участия.

Я лежу с этой улыбкой в темноте и думаю, что это, наверное, что-то значит.

Но это уже совсем другой вопрос.

* * *

Лиза вернётся через минуту. Максимум — две.

Я знаю это, потому что сама её попросила: Кость, принеси что-нибудь тёмное, не то розовое, которое было в прошлый раз. Лиза смеётся — я принесу, я принесу, — и уходит к кухонной стойке, а нас с Никитой оставляет. Просто стоять рядом.

Ничего особенного. Вечеринка у Кости — это три комнаты, набитые людьми, музыка достаточно громкая, чтобы можно было притвориться, что не расслышал. Я держу стакан двумя руками, хотя он не горячий. Просто привычка —

когда не знаешь, куда деть руки, держишь что-нибудь.

Пауза между нами длится секунды три. Может, четыре.

Потом он говорит:

— Ты давно знаешь Костю?

Незначительный вопрос. Из разряда «что-нибудь», которое говорят, чтобы не молчать.

— С первого курса, — говорю я. — Через Лизу, собственно. Они с ним из одной группы какое-то время были, потом его перевели.

— Понятно.

Пауза снова — но уже другая. Не неловкая. Просто пространство.

— А ты вообще часто сюда приходишь? — спрашивает он. Интонация обычная, вежливая. Такой разговор ни к чему не обязывает.

— Зависит от сессии, — отвечаю я. — В этом семестре редко. У вас же сейчас какая-то патфиза на горизонте?

— Патанатомия, — говорит он, и в голосе появляется что-то — не смешное, но узнаваемое. — Она не на горизонте. Она уже вот здесь. — Он поднимает ладонь к горлу.

Я смеюсь. Нормально смеюсь — потому что это смешно, не потому что хочу произвести впечатление.

Потом говорю что-то в ответ — про свою сессию, про то, что у них в институте тоже хватает, — он переспрашивает. Музыка становится чуть громче, кто-то включил колонку в соседней комнате, и он наклоняется немного вперёд, чтобы

расслышать. Не вплотную — просто ближе. Наклоняет голову.

Вот этот момент я помню хорошо.

Не потому что произошло что-то важное. Ничего не произошло. Просто я замечаю — в первый раз так внимательно, — что у него голос немного ниже, чем мне казалось до этого. Не особенно глубокий, просто — свой. Определённый. И что когда он наклоняется, чтобы расслышать, смотрит в сторону, не на меня — вежливо, как будто не хочет давить.

Я дорассказываю что-то про сессию. Он кивает.

Я думаю: хороший человек.

Просто так думаю. Ни о чём.

Лиза возвращается с двумя бокалами — один мне, один себе, — ещё что-то говорит Косте через плечо, смеётся и встаёт между нами, как она всегда встаёт — не специально, просто она такая, она всегда в центре, это не плохо, это просто она. И мы втроём разговариваем о чём-то — о ком-то из общих знакомых, о каком-то фильме, который Костя всем советовал и который никто не смотрел, — и всё нормально. Всё встаёт на места.

Ничего не было. Просто разговор. Лиза вернулась, зазор закрылся, и стало как всегда — то есть никак особенно.

Я это говорю себе тогда, в ту ночь, когда возвращаюсь домой.

Просто разговор. Ничего.

И почти верю.

Потому что есть одна вещь, которую я не люблю в себе — то, что я помню всё. Не в смысле у меня хорошая память на факты или даты. Я имею в виду другое: я помню, куда смотрела. Я помню, что весь оставшийся вечер — это часа полтора, может, два, — я следила краем зрения за тем, где он стоит.

Не специально. Просто замечала.

Он разговаривал с Костей — я видела. Смеялся над чем-то — видела. В какой-то момент вышел на балкон с кем-то из незнакомых мне людей — видела и это, хотя не смотрела в ту сторону намеренно.

Я злюсь на это воспоминание. Прямо сейчас, лёжа в темноте, злюсь. Не на него — на себя. На ту себя, двухмесячной давности, которая говорила «просто разговор» и при этом отслеживала перемещения человека по трём комнатам чужой квартиры.

Это не «просто разговор» так делается.

Но я знаю — тогда я этого не формулировала. Это просто было. Как бывает фоновый шум, к которому привыкаешь и перестаёшь замечать, — а потом тишина, и вдруг понимаешь, что он был. Вот так же. Я просто знала, где он стоит. Без решения знать. Без намерения.

Так получилось.

Я перекладываю телефон с одеяла на грудь. Экран тёплый — он лежал так давно, наверное. Никита написал что-то короткое — я открыла, посмотрела одним глазом в полутьме,

буквы немного расплывались. Что-то необязательное: смешная картинка или фраза, такое он иногда присылает поздно — не потому что нужно ответить, а просто потому что вспомнил, потому что захотел.

Потому что думал обо мне.

Я держу телефон и не тороплюсь отвечать. Не потому что играю в какую-то игру — я не играю, я вообще не умею в такие игры, я в них всегда проигрываю быстрее, чем успеваю начать. Просто лежу с этим ощущением — тёплым, немного тревожным, как бывает, когда что-то хорошее, но ты не до конца знаешь, насколько оно твоё.

Потом пишу.

Коротко. Небрежно — или то, что должно читаться как небрежно: ха, видела, спи давай.

Отправляю.

Кладу телефон обратно экраном вниз.

И смотрю в потолок. В темноту. В трещину, которая никуда не делась.

Я думаю о том вечере — о его голосе, о том, как он наклонился чуть вперёд, — и злюсь на себя за то, что помню это с такой точностью. За то, что оно вообще записалось так подробно, так чётко, пока Лиза ходила за вином и ничего не было, просто разговор, просто пауза в три секунды.

За то, что улыбаюсь.

Прямо сейчас. В темноте. Одна.

* * *

Первым написал он.

Я смотрю на это воспоминание, как смотришь на старое фото — с какой-то странной смесью узнавания и отчуждения. Вот я, вот момент, вот всё именно так, как было. Но смотришь снаружи, будто это не ты.

Он написал первым. Повод был нейтральный — спросил, не передавала ли Лиза ему какую-то книгу, она обещала принести, а он не хочет её лишний раз дёргать, она и так загружена перед коллоквиумом. Что-то в таком роде. Точных слов я уже не помню, но помню тон: вежливо, немного неловко, как пишут человеку, с которым виделся пару раз на вечеринках и чей номер есть в телефоне просто потому что так получилось.

Я ответила: нет, не видела, уточни у неё сама. Что-то в таком роде — тоже вежливо, нейтрально.

И он мог написать «ок, спасибо» — и на этом всё.

Не написал.

Написал что-то ещё — какую-то ерунду, не помню что, может, пошутил над тем, что Лиза забывает вещи хуже него самого, или что книга всё равно была так себе. Я ответила. Он ответил. Я не думала об этом в тот момент — я переписывалась, просто переписывалась, как переписываешься с человеком, потому что разговор ещё идёт и его не обрывать же.

Но потом я закрыла телефон и подумала: странно.

Не в плохом смысле. Просто странно.

Я не стала думать дальше.

Через несколько дней — или неделю, я не помню точно — мы столкнулись в городе. Почти случайно: я шла из своего университета, он откуда-то оттуда же — из той части города, которая между нашими институтами, там кофейни и магазины, туда все ходят. Он написал буквально за пять минут до того, как я его увидела — «я тут рядом, зайдём куда-нибудь?» — и я почти ответила «не могу», потому что и правда никуда особенно не торопилась, но и повода идти не было.

Потом подумала: почему нет.

Зашли.

Я думаю об этом «почему нет» сейчас — лёжу в темноте и думаю — и злюсь. Не потому что оно было неправдой. Именно потому что правдой. Я правда не придавала этому значения. Правда думала — кофе с приятным человеком, пять минут, ничего особенного.

Пять минут растянулись на два часа.

Я помню: столик у окна, январский свет — плоский, белёсый, без теней. Помню, что он взял какой-то сложный латте, а я американо, и пока ждали, мы говорили о чём-то совершенно ни о чём — о том, как у них на кафедре висит портрет какого-то врача позапрошлого века с таким лицом, что студенты его боятся больше, чем самих зачётов. Я смеялась. По-настоящему — не вежливо, не потому что надо. Просто смеялась.

А потом принесли кофе, и разговор переключился — на

что-то ещё, и ещё, и я вдруг поймала себя на том, что мы говорим про детство, про то, каково это — хотеть одно и делать другое, и он говорит что-то точное, чего я не ожидала услышать, что-то, что я сама думала, но не формулировала вслух никому. Я смотрела на него и думала: откуда ты это знаешь.

Не вслух. Просто так — внутри.

С ним было интересно. Вот в чём была проблема. Не в том, что он красивый — он красивый, но это я заметила ещё на той первой вечеринке и убрала куда-то на полку как нерелевантный факт. А в том, что с ним было интересно. Он слушал так, как будто то, что я говорю, имеет значение. Не кивал вежливо, не смотрел в телефон, не переспрашивал через слово — слушал. И говорил сам — не для того чтобы заполнить тишину, а потому что думал.

Я злюсь на это понимание. Прямо сейчас злюсь — на себя, на тот январский день, на белёсый свет в окне, на то, что я вообще заметила, как он слушает.

Потому что в какой-то момент — мы уже давно допили кофе, и никто не вставал, и разговор шёл дальше — он посмотрел на меня.

Не так, как смотрят просто в разговоре. Иначе. Чуть дольше. Чуть внимательнее. Будто сам себя поймал на чём-то и не сразу решил, что с этим делать.

Я не отвела взгляд.

Это было моё решение — не отводить. Я это знаю. Сейчас

знаю — тогда не называла это так, тогда это просто было: я смотрела, он смотрел, и три секунды тишины между двумя фразами были немного другие, чем остальные паузы в этом разговоре. Я не называла это решением, не называла это ничем. Просто не отвела взгляд.

Потом он что-то сказал — что-то лёгкое, переключил, — и я ответила, и разговор пошёл дальше. Ещё через полчаса мы вышли на улицу, он сказал «пока», я сказала «пока», и я шла домой и думала — ни о чём. Реально ни о чём. Слушала музыку и смотрела на дома.

Это неправда, конечно.

Думала. Просто не давала этим мыслям форму. Не разрешала им оформиться во что-то конкретное, потому что если оформить — то надо с этим что-то делать, а делать я ничего не собиралась.

Мы просто разговаривали. Встретились случайно — ну, почти случайно, — выпили кофе, поговорили. Два часа пролетели, потому что разговор был хороший. Это бывает. Это ничего не значит.

Я это думала. Правда думала.

Но я знала.

Вот что я не могу убрать — я знала уже тогда. Не формулировала, не называла, не разрешала себе, но знала. Что этот разговор — не просто разговор. Что тот взгляд — не просто взгляд. Что если он снова напишет — а что-то во мне было уверено, что напишет, — я отвечу быстро.

Знала. Уже тогда. В январе, на улице, под плоским белёсым небом, с ещё тёплым картонным стаканом в руке.

Телефон светится.

Я открываю глаза.

Экран лежит на груди, и свет от него — холодный, синеватый — бьёт в потолок, и я гляжу на эту полосу света секунду, может, две. Потом беру телефон.

Никита.

Что-то короткое — уточнение на завтра, во сколько и где. Мы договаривались встретиться, он просто подтверждает детали. Обычное сообщение. Ничего особенного.

Я смотрю в экран.

В январе я знала. Знала — и не сказала себе об этом вслух. Знала — и не отвела взгляд. Знала — и ответила быстро, когда он написал снова, через день или два, уже не помню, — и ответ мой был лёгким, небрежным, как будто мне всё равно.

Я пишу ему: да, всё как договорились.

Отправляю.

Кладу телефон.

И лежу в темноте с этим знанием — тихим, привычным, как трещина в потолке, которая давно есть и которую я давно перестала считать проблемой.

Просто есть.

Просто так получилось.

* * *

Лиза в феврале смеялась над собой особенно хорошо.

Я вспоминаю это сейчас — лёжа в темноте, глядя в потолок, с телефоном, уже выключившим экран, на животе. Лиза умела смеяться над собой — не кокетливо, не с тем расчётом, с которым некоторые девушки говорят «ой, я такая дура», ожидая возражений. По-настоящему. Со знанием дела.

Был февраль. Мы сидели у неё, она только вернулась с кафедры после какого-то промежуточного зачёта по патфизу, который она сдала не с первого раза — впервые за весь университет, насколько я понимаю. Не провалила, просто не сразу, и для неё это было почти катастрофой.

— Я ему говорю про механизм компенсации, — рассказывала она, — нормально говорю, по делу, он кивает, я думаю — всё, иду, — и тут он спрашивает одно уточнение. Одно. И я, — она сделала паузу, — просто забываю русский язык. — Совсем?

— Полностью. Стою и смотрю на него. Он на меня. Молчание длится, — она показала руками что-то неопределённое, — вечность.

Я засмеялась. Она тоже — и в этом смехе не было ничего защитного, никакой попытки сохранить лицо. Просто: вот что произошло, вот как это было глупо, и мне с этим нормально.

Лиза умеет так — брать что-то неприятное и рассматривать его без лишней драмы. Это, наверное, медицинское. Или просто она.

Я помню, что тогда подумала: вот за что я её люблю. Именно за это.

Сейчас я пытаюсь удержать этот образ — Лизу в феврале, со смехом, с историей про патфиз — и держать его на расстоянии. Как что-то общее, размытое. Подруга. Лиза-подруга, которую я знаю сто лет, которая смешно рассказывает, которая не сдала зачёт с первого раза и не сделала из этого трагедию. Такой образ — удобный. Тёплый, но не острый.

Но в памяти всплывает её рука.

Она тогда жестикулировала, объясняя про преподавателя и про молчание, — и я вижу её руку: как она показывала это «вечность», растягивая воздух между ладонями. Конкретная рука. Конкретный жест. Не «подруга вообще» — Лиза, которая сидела напротив меня на своей кровати с поджатыми ногами, в старом свитере с вытянутыми рукавами, и смеялась над собой в феврале.

Я не хочу об этом думать.

Мысль приходит тихо, почти боком, как всегда приходят мысли, которые не зовёшь: она бы не простила.

Я её останавливаю.

Это не потому что я трус или потому что мне всё равно. Это потому что — потому что не надо. Потому что это гипотетическое, это «если бы», а я живу не в «если бы». Лиза не узнает. Это не жестокость — это просто факт, обычный, как любой другой. Она не узнает, значит, ей не будет больно, значит, этой ситуации с точки зрения её реальности не

существует. А с точки зрения моей —

С точки зрения моей она существует. И я с ней живу. И мне с ней не так легко, как я иногда говорю себе, но это мой выбор, и я его сделала, и переделывать я его не собираюсь, и Лиза тут ни при чём, потому что она не знает.

Она не узнает.

Правильно. Всё правильно.

Но где-то — не в голове, ниже, примерно там, где желудок, — что-то тянет. Неприятно. Не больно, не остро, просто — тянет, как бывает, когда долго сидишь в неудобной позе и тело начинает напоминать о себе.

Я лежу ещё несколько секунд.

Потом встаю.

Кухня — маленькая, с одним окном, за которым уже почти ничего не видно, только фонарь на углу и кусок тёмного неба. Я не включаю верхний свет — только подсветку под шкафчиками, жёлтую, негромкую. Достаяю стакан. Открываю кран.

Вода холодная — по-настоящему холодная, как бывает только ночью, когда её долго не брали, — и я пью медленно, и смотрю в окно на фонарь, и ни о чём конкретном не думаю.

Это хороший способ. Я так умею — встать, переместиться, дать телу что-нибудь сделать. Налить воды, выпить воды, поставить стакан. Мысли за это время не исчезают — они просто теряют форму, рассыпаются, становятся снова размытыми и общими, и с общими жить гораздо легче, чем с

конкретными.

Жест её руки. Старый свитер. Смех над патфизом.

Я ставлю стакан в раковину.

Иду обратно.

Телефон лежит там, где я его оставила, — экран тёмный. Я беру его, ложусь, натягиваю одеяло до подбородка и открываю переписку.

Никита. Сверху — его сообщение про завтра, моё короткое «да, всё как договорились», и выше — всё остальное. Я листаю вверх медленно, не торопясь. Вот он присылает что-то смешное в среду, без повода, просто потому что вспомнил и захотел поделиться. Вот я отвечаю длинно, мы уходим куда-то в сторону, разговор петляет, и я помню, что сидела тогда на лекции и отвечала под столом, и препод смотрел в мою сторону, а я не останавливалась. Вот он пишет поздно — очень поздно, уже за полночь, — и я уже засыпала, но увидела уведомление и написала обратно, и потом мы разговаривали ещё час.

Я помню тот вечер. Помню, как лежала в темноте с телефоном, точно так же, как сейчас, и смеялась тихо, чтобы соседка по комнате не проснулась. Помню, что думала — вот это. Вот именно это.

С ним по-другому.

Не лучше, не хуже — другое слово не подходит, нужно именно это: по-другому. Он говорит не так, как говорят обычно, когда хотят произвести впечатление или заполнить

паузу. Он говорит, когда ему есть что сказать, и молчит, когда нет, и в этом молчании нет неловкости. Я умею быть в тишине только с очень немногими людьми.

Это особенное.

Я это знаю — и сейчас это знание тихое, уверенное, как что-то, что давно проверено и не требует доказательств. То, что тянуло под рёбрами десять минут назад, пока я стояла у раковины, — уже не тянет. Отступило. Или растворилось в прокрутке переписки, в конкретных словах конкретных разговоров, в доказательствах, которые я не просила, но которые есть.

Лиза — это Лиза. Она моя подруга. Она смеётся над патфизом и жестикулирует, объясняя про молчание в кабинете преподавателя, и я её люблю, правда, и это всё — правда, и ничего из этого никуда не делось.

И это — это тоже правда. Другая, отдельная, своя.

Я кладу телефон.

Закрываю глаза.

Лиза не узнает, и значит ей не больно, и значит всё хорошо, и значит можно спать.

За окном фонарь. Тихо.

Я засыпаю.

* * *

Это было три недели назад, или четыре — я не считаю.

Был четверг. Или среда. Неважно — важно то, что было свободное время, которое у нас обоих не так часто совпада-

ет, и мы договорились у него. Без конкретной цели: просто побудем, посмотрим что-нибудь, разберёмся по ходу.

Его комната небольшая — стол завален конспектами, книжная полка с учебниками, над которыми явно давно не думали, куча всего на подоконнике, и диван, который занимает едва ли не треть пространства. Я люблю эту комнату. Люблю именно за то, что в ней немного стыдно жить, но жить в ней всё равно хочется — как будто она честнее большинства мест, где я бывала.

Мы выбирали, что смотреть, минут двадцать. Это само по себе уже что-то — у меня обычно кончается терпение после пяти. Но с ним я готова листать бесконечно, комментировать вслух, спорить про трейлеры и слушать, почему фильм девяностых с рейтингом семь и одна лучше современного ремейка с восемью и пятью. Он объясняет такие вещи так, как будто это важно. Как будто это вопрос, который стоит решить прямо сейчас и решить правильно.

Я хохотала. Настоящим смехом, не тем, который используешь, когда хочешь, чтобы человеку было хорошо рядом с тобой.

Мы так ни на чём и не остановились — выбор превратился в разговор, разговор пошёл в сторону, и в какой-то момент фильм уже был просто фоном. Я сидела боком, опираясь спиной о стену рядом с диваном, он — рядом, вытянув ноги. Плечо его было в нескольких сантиметрах от моего плеча.

Потом расстояние куда-то делось.

Не то чтобы кто-то двигался специально. Просто вот было, и потом — уже не было. Его плечо тёплое, даже через ткань. Я помню запах — что-то чистое и немного деревянное, не парфюм, а просто он, как люди иногда пахнут по-своему, и это нельзя ни подобрать, ни объяснить. В комнате горела только настольная лампа — та, что у стола, — и свет был жёлтый, старый, и на стене лежала длинная тень от полки с учебниками.

Я не нервничала.

Вот что странно. Я почти всегда нервничаю в тишине. Не снаружи — снаружи я умею выглядеть спокойно, — но внутри всегда есть что-то, что начинает перебирать варианты: о чём говорить, правильно ли я сижу, не слишком ли давно молчим. Фоновый шум, который я не выключаю, просто привыкла.

Тогда его не было.

Мы молчали — долго, наверное, минуты три или четыре, — и я заметила это только потому, что заметила его отсутствие. Шума не было. Просто тихо, лампа, его плечо рядом, на экране кто-то что-то говорил, и мне было хорошо. Так хорошо и так просто, что я почти испугалась.

Он сказал — не поворачиваясь, ни к чему, просто вдруг: — Слушай, у меня кончился чай три дня назад, и я каждый вечер забываю купить.

Я подождала секунду. Потом:

— И каждый вечер обходишься без него?

— Пью воду. Как взрослый человек.

— Ужасно.

— Знаю.

Вот. Вот и всё. Ничего важного — фраза про чай, которую он мог сказать кому угодно и которую я точно не запомнила бы, скажи её кто-то другой. Но я запомнила — потому что он сказал её именно так: без заявки на разговор, без попытки что-то заполнить. Просто мысль, которая вышла наружу, потому что рядом можно.

Именно тогда я подумала: вот почему.

Не «вот почему я здесь» или «вот почему это не должно происходить» — я не думала такими категориями, они не приходили, их не было в комнате. Просто: вот почему. Коротко, точно, как ответ на вопрос, который ты не формулировал вслух, но который давно уже есть.

С Лизой у него не так.

Я это знаю — не потому что она мне говорила, и не потому что он говорил. Просто знаю. Лиза — это надёжность, структура, правильный ответ на вопрос «с кем быть». Она умная, она будет врачом, она знает, чего хочет. С ней — стабильно. Я понимаю, что это значит, понимаю, почему это ценится.

Но вот это — вот эту тишину без шума, вот этот разговор про чай ни к чему, вот это плечо к плечу без усилия — такого нет. Не может быть. Потому что если бы было, он был бы там. А он здесь.

Это логика, которая складывается сама, если не трогать её руками. Я не трогаю.

Он потом принёс воды — встал, прошёл на кухню, вернулся с двумя стаканами, поставил один передо мной без вопроса. Я смотрела на его руки, когда он садился обратно. Длинные пальцы, медики бы сказали что-то про тип телосложения — Лиза бы точно сказала. Я подумала: смешно, что я думаю о руках.

Стакан оказался холодным и чуть запотевшим снаружи.

Мы смотрели дальше — или не смотрели, я не следила за экраном, — и потом уже было поздно и я собиралась, и в прихожей он придержал дверь, и я обернулась, и секунда была такая, что можно было бы, но я не стала, потому что нет нужды торопиться, потому что мы никуда не денемся.

* * *

Сейчас я лежу с этим воспоминанием, как лежат с тёплым.

И улыбаюсь — замечаю это только когда уже улыбаюсь. Угол рта приподнят, лицо мягкое, и темнота за закрытыми глазами не тревожная, а спокойная.

А потом улыбка чуть гаснет.

Не потому что больно. Не потому что стало страшно или пришла какая-то мысль, которую нельзя было отпустить. Просто — усилие. Маленькое, едва заметное, как когда несёшь что-то лёгкое, но долго: оно всё ещё лёгкое, но руки уже чуть устали.

Не думать дальше — это не сложно. Это просто требует

чуть-чуть.

Улыбка становится меньше сама по себе, пока я лежу в темноте и слушаю, как за стеной у соседки негромко работает телевизор. Жёлтый свет его комнаты ещё стоит где-то за веками — лампа, тени, его плечо рядом, стакан с водой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.